Виктор Будаков

одинокое сердце поэта

Виктор Будаков Одинокое сердце поэта

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

К 75-летию со дня рождения А. Т. Прасолова (1930—1972)

Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области

Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.

В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.

Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XXI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.

- ВИКТОР БУДАКОВ
  -
  - Жизнь
  - Пролог
  - Родина Ивановка
  - Морозовка. Полынь войны
  - Свой очаг
  - У Черной Калитвы
  - Россошь. Уроки и строки
  - Ранняя рукопись
  - Сельский учитель
  - Воронеж — город поэтов
  - Россошь. На круги своя?
  - Новая Калитва. Донская лука
  - Петропавловка воронежская
  - На грани зрелых лет
  - Писательский билет
  - Москва бьет с носка
  - Россошь — родина и мачеха
  - Хохол. Последняя редакция
  - Дивногорье
  - Воронеж. Дом беды
  - Эпилог
  - Муза
  - Память

- Путь в будущее

Алексей Прасолов.
Фото 1956 года. Из архива А.Т. Прасолова

Виктор Будаков

одинокое сердце поэта

Центр духовного возрождения
Черноземного края
Воронеж 2005

ВИКТОР БУДАКОВ
ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Сущность прасоловской поэзии глубоко постиг и объяснил В. В. Будаков: «Поэтический мир Прасолова — с тревожным дыханием не только текущего, но и прошлого и будущего — драматичен своей двуединостью: он целен и одновременно расколот, в нем тепло и холод, трава и пепел, родина и Вселенная, земля и небо, день и вечность словно бы в извечном единстве-поединке».

Борис Стукалин из книги «Годы, дороги, лица…»

Высокий глагол

Для милых тебе и немилых —
Как синий завет — небосвод.
Но давит яремная сила,
И в пропасть, и в бездну ведет,
Равняя незрячих и зрячих…
Но и в окруженьи невзгод
И даже из пропасти мрачной
Увидишь лазурь-небосвод.
И пусть даже долгая осень,
Край осени скошен и гол.
Но вышняя сила выносит,
Рождая высокий глагол.
Две силы, две воли-неволи?
Мир светлый и темный — един:
И нет его, счастья, без боли,
А света — без темных годин.
Так Слово — когда из согласных
Иль гласных — в потере звенит.
А мир и печальный прекрасен,
Коль есть в нем земля и зенит.

Жизнь

2 февраля 1972 года Алексей Прасолов рано выходит в город. С почтамта на главной улице Воронежа он отправляет в Москву конверт — воспоминания об Александре Твардовском.

А вечером — дома — уходит из жизни. Стоят самые холодные часы того года. Весь месяц в плену февральских морозов.

Мир в напряженье — перед взлетом
Иль перед гибелью своей?

Его родину из века в век грозами било, молниями палило. И человека — тоже. Каждого — по-разному, но каждого — через предка ли, через себя самого или через сына — захватывали чувства тоски и тревоги, сиротства, разлома и пропасти. В лучших живая душа мучилась, и совесть лучших стыдилась обезбоженной жизни. Частное переплеталось с общим, узкосемейное — с широкорусским.

И у него — беда ранняя. Своя и национальная. Отец оставляет мать с ребенком на руках. Родную Ивановку надламывает коллективизация. Мать задыхается на поденщине. Атеисты крушат сельскую церковь. Близится страшная война.

Есть родина, да чужие хотят сделать ее чужою.

Но ведь и весь мир грозами бьет, и слово «боль» кричит на всех языках! Когда человек, отмеченный даром поэтическим, подчас пророческим, отчее безотцовское подворье, родимый край, да и весь шар земной чувствует как драму, занавес которой никогда не будет опущен, что он должен сказать? Что мир — царство хаоса, несоединимого разлома, бесконечной бездны? Или он обязан сказать о гармонии? Не может не сказать, если он поэт милостью Божьей.

У него слово надежды — проблеск мировой гармонии — есть!

Но судьба, но рок, но жребий довлеют не только в поэтической строке, но и в земном, житейском шаге.

Пролог

Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод…

Чем-то более древним, нежели эпохи матриархата и патриархата, невольно приходящие на историческую память, веет от этих слов. Какая-то глубинная, прадревняя предназначенность в этом — «вошло». Будто бы на незримой поверке испытывается судьба не одного человека, но судьбы народов, стран, быть может, цивилизаций.

«Пролог», открывающий посмертные сборники стихотворений Алексея Прасолова, путеводен в понимании природы его творчества: от дней Творения целен и одновременно расколот мир, в котором тепло и холод, трава и пепел, родина и вселенная, земля и небо, миг и вечность — странно соединенные: подчас родные, подчас враждебные; и свет, и тьма в них — часто попеременные.

Три строфы, всего двенадцать строк. Но как наполнены изначально сущностными словами-смыслами: «рождение», «мир», «жизнь», «мать», «отец», «письмена», «год», «родина»! Словно поэту, для того чтобы выразить самую суть бытия, свыше отпущено было пространство только этих трех строф.

Где же пролог «Пролога» — истоки и корневые начала прасоловского слова, строго запечатлевшего этот изначально двуустремленный мир в его двуединстве гармонии и хаоса, лада и разлада, идеально-возвышенного и обыденно-плотского, в его контрастах, изломах, безднах? Как поэт шел к своему слову, какие осваивал времена и пространства, помимо отведенных ему физических, столь недолгих, столь коротких? Следует ли здесь принимать как существенное часто поминаемое выражение Гете о том, что нельзя понять поэта, не побывав на его родине? Всегда ли неразделимы драма жизни и драма творчества? Каков союз точен? Биография и судьба? Или же биография, но судьба?

Родина Ивановка

Южный окрай Воронежской области. Степные суходольные места. Полынь и ковыль. Чреда зеленых, желтых и иных красок — холмистые поля. Летом — солнце и ветер, зимою — снег и ветер; пуржит, заметает проселки.

Не в одно десятилетие здешние, закаспийским палам подверженные, бедные, но и богатые земли осваивали выходцы с поднепровской окраины, казаки Острогожского полка.

В конце девятнадцатого века этими косогорами и логами со станции Ольгинская, теперь Митрофановка, на хутор Ржевск к другу своему и будущему душеприказчику Владимиру Черткову добирался создатель «Войны и мира».

А раньше? В былинные, старорусские дни? А в дни первоапостольские, евангельские? Ветхозаветные?

Но молчат, немотствуют письмена о том, что было здесь века и века назад. Курганы — чьи они? Лишь ветры и туманы над курганами, давно распаханными.

И вдали от суетного стана
Вдруг возникнет, как из-под земли,
Скорбная торжественность тумана
В память тех, что раньше здесь прошли.

Едва не от Митрофановки различаешь на горизонте-всхолмье горсть изб, гребень лесополосы. От шоссе долгим косогором проселок вдоль затравелого, овражистого лога выводит на увал. Перед глазами сельцо — десятка два дворов, еще не кинутых людьми. Стежки дорог и тропинок заполняет лебеда — спутница уходящей человеческой жизни, разгульная дочь запустений. Тихо, малолюдно. Какая глушь, какая чувствуемая удаленность от всемирных столиц! Кажется невероятным, что здесь родился человек, который воплотил в своей мысли тягу к запредельному, стремление прозреть в мирозданье. Поэт, в слове которого неразделимо соединились проселок и космос, тепло человеческого сердца и холод надмирного пространства.

Но это так. Автобиография начиналась с неизменной строки: «Я, Прасолов Алексей Тимофеевич, родился 13 октября 1930 года в селе Ивановка…», — далее назывался район или Михайловский, или Кантемировский, или даже Россошанский: местные административные границы при жизни поэта несколько раз менялись.

У околицы — школа и клуб. Самые людные прежде уголки. Но мертво они молчат: бывшие. Неподалеку, в оккупированной бурьянами ограде, — памятник ивановцам, не вернувшимся с войны. Густые столбцы имен, горестное многолюдье погибших. Иные фамилии повторяются многократно: Вечерко… Молчанов… Ткачев…

Первый увиденный мною в Ивановке человек — сын одного из тех, кто помянут в мемориальном столбце. Иван Иванович Вечерко, фельдшер медпункта. Лечебный дом так же, как и школа, и клуб, выстроен при околице. Просящих медицинской помощи в полуденный час не было, и Иван Иванович, видать, по-крестьянски неуютно чувствуя себя без дела, воевал с бурьянами, скашивал и сгребал их, а помогали ему жена и внук.

Выяснилось, что Вечерко не только слышал о Прасолове, но полвека живет на былом подворье его семьи.

По мягкому скосу спускаемся с Верхней улицы к Нижней.

Напротив нового дома Вечерко — обломок старой хаты, откуда четырехугольным криком в мир молчит окно, откуда давно уже некому глядеть детскими глазами: а что там на улице?

— Хату поставил прасоловский род еще в середине прошлого века. Как она гляделась? Не хуже и не лучше других… — Вечерко извлекает из нагрудного кармана тетрадь, вдвое сложенную, ручку и принимается чертить, на ходу разъясняя: кухня, по-нашему, хатына, еще горница, еще присины, вроде закрытого крыльца. Два окна выходили на юг, два — на восток. А еще оконце — на север. Весь косогор перед глазами. В полусотне метров от хаты — криница в вербах. Криницу прозвали Прасоловской. Прежде вся Ивановка брала отсюда воду — кружками, ведрами, даже бочками. Правда, пробивались еще родники у леса… Так — о хате. Глухая стена была из вербы, остальные — дубовые, до окон. Окна из двух створов открывались вверх. Крыша, как водилось, соломенная.

Жена Ивана Ивановича, обращаясь к внуку, еще дошкольнику:

— Видишь, какая важная хата была. А мы ее ломаем… — наблюдает, как муж, замолчав, неторопливо довершает чертеж подворья, и вдруг переводит разговор на другое: — Пусть и не к месту, но скажу. Я такие сказки знаю, какие теперь уже нигде не услышишь. Наши, ивановские. Вам бы напечатать их: из такой старины идут!

— Спросите, — заговорил вновь Вечерко, — как выглядели прежде прасоловские огород и сад? На огороде — лоскут сливовой заросли, по ярку вишни и груши остались. Были еще три ясеня и осинки. Идемте поглядим. Видите, все зарастает.

Дичает. На ближнем скосе прежде хорошо бахча удавалась.

Под берестками две глухие ямы, видите? Воронки — еще с Гражданской войны. От тяжелых снарядов. Здесь красные, белые толклись, выбивая друг друга. На прасоловском подворье, старики сказывали, двоих расстреляли — то ли красных, то ли белых. А в сорок втором — тут опять беда. Немцы вошли в Ивановку в июле сорок второго, выбили их отсюда в январе сорок третьего. В первый же день нашествия мы, подростки, увидели нашего пленного бойца. Под вербами, возле криницы. Немцы вокруг. Сбегал я в дом, принес молока и хлеба, подаю ему, а он лишь усмехнулся: «Мне уже ни к чему: второй раз убегаю». К вечеру его на нашем подворье и расстреляли. Так что бедственное, горемычное это подворье. Рок над ним…

Да и над Ивановкой тот же рок. До коллективизации — полтораста хат, восемьсот человек. В тридцатом начали трепать нас. Быстро народ поредел. Кого на Соловки, кто сам сбежал с земли. В тридцать первом нашу деревянную, высокую церковь принялись рушить — крест снесли, купол и стены тракторами с железными тросами валили. Позже из обломков церкви в новоявленном совхозе имени Анцеловича соорудили клуб, больше на амбар похожий.

Поруха и при хрущевщине, и при брежневщине продолжалась. Гоняют крестьянина из угла в угол. То огород чуть не до порога отрежут, то сено отберут, то сельсовет в другое село переведут. В шестидесятые годы в Ивановской школе учились полтораста детишек. Ныне — ни школы, ни клуба, ни сельсовета. Неперспективная деревня. Скоро видать, скажут, что и Россия — неперспективная.

Долго еще бродим мы с Вечерко по задичалому саду, который тянется к близкому логу, перехваченному гребнем ставка; топкое место: до войны здесь сплошь были мочажины, копанки, где местные женщины на время отдавали воде коноплю — плоскинь и прядево.

На противоположном косогоре — уже тронутый предосенней нажелтью лесок, по местному называемый «Свий лис»; в прошлом веке все вокруг было «панское», как объясняет Вечерко, своего у ивановца только и было, что руки-ноги, еще этот кроха-лесок да жалкие неудобья, вроде примыкающего к леску косогорного клина, который называют здесь Шпиль.

В прошлом из-за нехватки общинной земли Шпиль распахивался. С горы, чуть наискосок, сивка тянул соху. А в гору, бывало, та же соха — на крестьянских плечах: чтоб конь передохнул. Давно уже Шпиль не пашут: земли много, кто бы ей лад дал?

Подворье, лес, поле. Детская родина. Отчая пядь земли. Характер зрелого прасоловского стиха, часто отвлеченно-метафизического, скажут, не предполагает разговора об этом. И все же… Что для поэта может быть глубже и благодатней, нежели раннедетская пора, когда глаза и душа открыты миру и вбирают его?

В Морозовке днем позже Вера Ивановна, мать Прасолова, памятливо мне расскажет, как сын, дошкольник, наведывался по весенним и летним праздникам в «Свий лис», где на просторной поляне, у старых дуба и липы, в полукруге терновника, собиралось чуть не пол-Ивановки; как в зимние часы пропадал на Шпилю — «там, кто постарше, катались на лыжах и санках, а он, пятилетний, догонял их. Так нагоняется, что в хату вваливается что снежный ком. Тогда зимы выдавались забоистые, на снег щедрые, метельные». Или — как он любил бывать у близкой криницы, а она тревожилась, чтоб чего не случилось, и звала его не отлучаться со двора.

Холодная, острая, как в ножевых лезвиях, криница. Топкие места и косогорные провалы, большие снега и метели есть в прасоловской строке, и кому-то они могут показаться «родом из Ивановки».

Но не о том. В Ивановке — первый «дом беды», резкий зачин драмы, конца которой поэт не видел. Эти двое расстрелянных на прасоловском подворье в Гражданскую войну — красных ли, белых ли — русских! Этот юный военнопленный, расстрелянный в Отечественную войну, — опять-таки у прасоловского дома.

А детская тоска по отцу? Уйдя в армию и то ли поверив злому, оговорному слову на мать, то ли в поисках лучшей доли на стороне, отец в семью не вернулся. И сын, с младенчества без отца, с детства видя трехжильную страду матери и сам втягиваясь в эту страду, простит отца, когда станет уже взрослым. Простит и тем найдет его вновь, хотя и никогда не увидит. Как скажет в стихотворении «Память» об отце своем — «он был любящим сыном Отчизны»; и погиб он, скорее всего, на первом году войны, никому не успев или не захотев послать даже малой вести.

Что же сын — и ребенок, и взрослый? В его сердце — драма семьи. В его сердце — драма деревни. Крест был сброшен с ивановской церкви, как и с десятков тысяч православных храмов. Но сбросить крест — не одеяние сбросить. Сумрачно и зябко стало душам, словно птицам, застигнутым внезапной зимней ночью.

В ребенке — чувство Бога, теплого Неба: от материнской молитвы. Во взрослом — чувство холодного обезбоженного неба: от времени. Он был, как и весь народ, сыном и матери, и

времени. Боговерящей матери и богоотрицающей эпохи.

После очередного, хрущевского церквоборчества Прасолов запишет в дневнике: «Как нужен храм! Но храм безлюден…» Разумеется, буквальное прочтение записи — неполное: здесь — некая тайна, иносказательность, трудноуловимое мгновение; но, как бы то ни было, слово «храм», дважды повторяясь, являет и прямой, сущностный смысл, тоску по соборному, горнему, духовному.

Трагическое испытание деревни — трагическое испытание страны. Ныне две трети ее народа живут не там, где родились. Они — из Ивановок. Но они — без Ивановок. Родные корни — искромсанные. Человек — с ними и без них.

Слом села, слом многовекового крестьянского уклада ударил по крестьянам-отцам, незримыми осколками изранил и сыновей. Еще не оттого ли и в жизни Прасолова, рожденного в год нового закрепощения крестьянства, и в его поэтическом слове — все так резко, жестко, контрастно, всюду «в трагическом изломе — бездна», всюду «грани враждующих истин»?

Криница заключена в деревянный, ветхий, почернелый за давностью сруб. Вода через ржавую трубу вытекает, ни на миг не прерывая своего тока, струит по косогору вниз. Но нет дороги или хотя бы сизо утоптанных тропинок к кринице: некому их торить и некому людно собираться здесь, как бывало, во дни водосвятий. Собирались «на иордань» даже и тогда, когда церковь уже пять лет как была порушена. Но моя поездка сюда — ровно через полвека после того, как мать и сын решились покинуть Ивановку. И увиденное и положенное на лист бумаги — в той августовской 1986 года поездке.

* * *

А через два года — новая встреча с Ивановкой, и увиденное — еще более грустное. Не будь здесь молочной фермы митрофановского колхоза, может, и вовсе приехал бы на пустырь. Жилых хат — наперечет.

Ушла преступная пора столичного похода против «неперспективных» деревень, оставила ржавые замки на школах и клубах; без динамита, красного петуха и мора свела тысячи русских Ивановок.

Рабочие светоустроители, взбираясь на столбы, обрывают провода: не к кому, не за чем идти электричеству по улице Верхней.

А что на улице Нижней? Последнего угла-полустены

прасоловской хаты уже нет.

* * *

Осенью 1995 года в Ивановке «владыкой» неостановимо разросся бурьян. Лебеда, чертополох. Да еще настырно, буйственно захозяйничала ядовитая заокеанская циклохена дурнишниковидная: одно название — угнетает!

Была слобода, жила, как великое множество славянских Ивановок, мирно, своеукладно. Многотрудно. Временами — недородно. Но все же хаты строились и дети рождались. И звучали песни.

Двадцатый век принес революционные сломы всему и вся. Деревне — в первую очередь. Гражданская война, атеистическое колхозоустроение, страшная потерями Великая Отечественная расшатывали и кромсали корень народной жизни — крестьянский мир.

Стожильный, и он износим, прочность всего живого имеет предел. Позже состоялось прицельное доразрушение — «неперспективность» деревни, принятая на академическом и правительственном уровне. А перестроечно-реформистская, рыночно-большевистская смута — словно последняя точка. В прасоловской Ивановке, как и в тысячах славянских деревень, пусто: ни песни, ни детского голоса. Заколоченная дверь, незрячее окно, холодная печь.

Еще недавно предлагал я установить на родине поэта памятный знак. Но — странен, ранящ и горестно-жесток был бы он в мертвой слободе, где полыхает бурьян!

Все же и в самом печальном часе жизни есть надежда. И разве Анатолий Жигулин, поэт, близкий Алексею Прасолову по духовным началам, по времени и месту рождения, при виде уходящей в небытие деревни на своей малой родине не произнес чаемое слово надежды: «Ничего, на этом грустном месте кто-нибудь поселится опять»?

Морозовка. Полынь войны

В двух десятках верст от Ивановки — Морозовка.

Не страница, но целая глава из книги жизни — годы детства, отрочество, годы ранней юности — за автобиографической строкой: «В 1937 году поступил в Морозовскую неполную среднюю школу, которую смог закончить только в 1946 году (помешала война)».

Вера Ивановна прожила в Морозовке более полувека — дольше, чем вся жизнь сына-первенца. По нужде сменив глухое сельцо на близкую к железной дороге слободу, она жила здесь, почти никуда не отлучаясь. И лишь в преклонной старости, уже в конце века, выехала к младшему сыну Ивану в главный город на Кубани.

Старшему сыну выпало немало скитаться по районам Воронежской области, но и для него Морозовка — наиболее долговременный дом. Свой дом!

Близкая к Россоши полукрестьянская, полуремесленная Морозовка упоминается в изданной в начале двадцатого века многотомной «России, полном географическом описании нашего Отечества» как не столь по тому времени многолюдная, без малого в две с половиной тысячи человек, но довольно зажиточная, крепкая слобода. Волостное правление, паровая и более трех десятков ветряных мельниц, ярмарки, лавки, школа, церковь.

Когда мать с сыном из Ивановки — через Россошь, где промытарились одну зиму, — перебрались в Морозовку, здесь уже не было ни ярмарки, ни ветряных мельниц, ни церкви. Шел тридцать седьмой год. По стране, еще недавно крестьянской, пронесся смерч — как по беззащитной березовой роще. Многих недосчиталась слобода в революцию и гражданскую войну. Не меньше — в коллективизацию. Храм местные энтузиасты-безбожники развалили и из кирпича церковной кладки замахнулись выстроить двухэтажный клуб. Новостройку увенчали железной крышей, но вскоре разразилась гроза: при сильнейшем ударе молнии крышу на глазах Морозовки приподняло в воздух и мягко опустило на близком выгоне. Второй этаж перед войной разобрали, но одноэтажный клуб собирал вечернюю молодежь долго еще и после войны.

Школа — кирпичная, удлиненно-приземистая — с земских, дореволюционных времен. В ней Алексей учился, здесь урок к уроку сложились и завершились его школьные годы. Позже была выстроена двухэтажная школа, а в старом здании разместилось на

какое-то время колхозное правление. Учение будущему поэту давалось легко. Но, как явствует биографическая помета, окончил школу он не в свой срок. Разразилась война, фашистский блок — альянс из европейских стран — напал на Советский Союз.

О настигнутой войною, и железом, и чуже-враждебным духом теснимой ранней его жизни в Морозовке — повесть «Жестокие глаголы», где слобода угадывается явственно, хотя и не называется.

(В прасоловском дневнике более раннего, чем повесть, времени — просто «Глаголы»: то ли для краткости, то ли искомый, точный эпитет тогда еще не определился. Почему глаголы — именно «жестокие»? Мало иных, обозначающих и милосердные начала жизни? Почти два тысячелетия назад люди услышали Нагорнюю проповедь. В Евангелии запечатлен возглас будущего апостола, обращенный к Сказавшему Нагорнюю проповедь: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И во все века духовные подвижники и праведники, религиозные мыслители постигают эти глаголы вечной жизни, исповедуют жизнь по Глаголу горнему. И люди высокотворящие — тоже. Еще в девятнадцатом веке Пушкин, Хомяков, Боратынский призывают глаголы вдохновенные, вне суеты и торга — глаголы высокого духа, добра, любви, правды, мира. Но двадцатый век — небывало сломный, разрушительный. Человеческий быт «утратил мирные глаголы», сетует Есенин. «Глаголям виселиц» пришли нас учить немые, напишет позже Твардовский. Еще позже поэт из плеяды тихих лириков, посвящая стихи памяти современника — наследника классической лиры, не без горечи скажет, что и тот в начале пути заплатил дань «набегу разрушительных глаголов». Разумеется, разрушительные, жестокие глаголы мрачно и мощно звучат и действуют не только в войнах, но прежде всего — в них. Потому и у Прасолова о военном нашествии — «Жестокие глаголы».)

«Беда всесветная» накрыла черным крылом всех и вся: и малых и старых, и ближние и дальние от границы города и деревни. На первом году войны занятия в Морозовской школе не прекращались, но прежнего ровного течения их уже не могло быть: осенью сорок первого немцы бомбили близкие станции — Россошь и Райновскую.

Память матери навсегда сохранила день обвального воздушного налета на станцию Райновскую. Тогда в щепки был разнесен поезд, державший путь из Одессы в Новосибирск и в недобрый час настигнутый «Юнкерсами» в среднерусской степи. Эшелон увозил эвакуированных из теплой Одессы — спасти от войны. Бомбежка была сокрушительной. Как будто в теплушках

таилось сверхсекретное оружие или что другое, что могло решить исход войны. Поднялась стена огня и дыма.

Морозовские женщины, бывшие поблизости в поле, не разбирая дороги, кинулись в полымя еще не оцепленной территории. Обгорелые доски, разметанные тела убитых. Кровь. Смрад догорающей одежды. Клок обгорелой горжетки, на какого зверька похожий? А еще — исковерканная посуда. Статуэтки, вазы. Из дорогого металла, из голубого и розового стекла, из драгоценного камня. Кровь и бессильная роскошь ударили по измученным милосердным сердцам крестьянок…

В «Жестоких глаголах» рассказывается о другой бомбежке — первой, еще только разведочной. Идет урок русского языка. Когда учительница просит ученицу ответить о глаголе как части речи, та выхватывает взглядом в окне пролетевший самолет и в качестве нечаянного примера находит спасительный глагол: «Самолет что сделал? Улетел…»

«Нет, Тоня, он развернулся над маленькой станцией, скрытой горой от наших глаз, сделал плавный крен на левое крыло, и, невидимая на большом расстоянии даже в таком чистом небе, от него оторвалась первая в нашем краю бомба. Гром взрыва, усиленный над нами железной крышей, сначала прибил всех к партам, а тебя отшатнул от окна. А потом мы выскочили… Преодолев расстояние от станции, нашего слуха достиг вой сирены. В ушах шумела напирающая кровь, и все колыхался — тяжело и оглушающе — звук разрыва, чуждый всему живущему на земле глагол».

Бомбить, выжигать, разрушать, стрелять, убивать — жестокими глаголами испытывается детское сердце.

Летом сорок второго фашистское нашествие не только бомбами, но и коваными сапогами, протекторами колес достигнет Морозовки. Тяжелая, всезаполняющая лавина. Перед тем взрослеющий мальчик примет в свое сердце пропыленных горемык-беженцев, наших отступающих, переполовиненные полки, забитые ранеными дороги и вокзалы. Чуткому к унижению, ему придется испытать и враждебный, чужеязычный окрик, и хваткую пятерню надменного офицера. Ранимым, не забывающим детским зрением он увидит и запомнит, как нашествие двигалось, растекалось, гоготало, насыщалось и пило, как «громыхали грузовики с брезентовыми тентами, радиаторы упирались в задние буфера, во всем потоке не было никакого промежутка…»

Неостановимой лавой течет нашествие дальше, к Дону, и здесь со старой дедовской винтовкой на большак не выйдешь. И как же? Куда же? Обрести пусть недолгое, передышное

успокоение в тихом уголке исцеляющей во все времена природы? «…Таким покоем, такой отрешенностью от всего, что творилось на свете, жил простор земли, что мы с другом замерли у воды». Но в подобный час природа не спасает. Гул воинских колонн слышен повсюду.

Вражеские самолеты из лука не сбить. Однако герой повести упрямо рисует на глухой стене «юнкерсы», «хейнкели», «мессершмитты» и упрямо вонзает в них стрелы. Подросток еще не знает, что ему предстоит вернуться к этим мишеням. Выросши вместе со своим поколением, поразить их. Уже не тетивами детства, не наивными ребячьими стрелами, но словом.

Осиротелая деревня (только глаза, из-за плетней вглядывающиеся в нашествие), мать — ей надо кормить двоих, горький ее вопрос: «Как дальше жить?» Глаза и чувства ее сына — это глаза и чувства русской деревни, не приемлющей нашествие. В его душе, в его рисунках — и участие. И память: его будущая — возвращающая — память, и память всего села, хотя село о том не подозревает.

Врага не победить, не зная, откуда род твой, где корень твой. Высокие образы национальной истории помогают. И здесь подросток, словно в предчувствии своего поэтического жребия, обращается к мысли, воображению. Он ревниво читает о Ледовом побоище, о сече на поле Куликовом, наверное, о Бородинском сражении. Стены хаты изрисовывает событийными картинами русского героического прошлого. История Отечества заново повторяется в подростке, который незаметно для матери и села рождается как поэт, как совесть: он рисует, но кисть в его руках не пятнает калитку номером, как того требует оккупационная власть.

Просторы, события, имена отечественной истории укрепляют дух? Но день текущий — непобедный? Где чуткий человек, который бы убедил отрока в том, что начальное поражение — предвестник трудной победы, коль все мы — и давно выстоявшие у Дона на поле Куликовом, и ныне отступающие к Дону и еще бог весть куда — единый корень!? Такой человек — времена связующий — в повести появляется. Псковитянин Лагода. В имени слышится древнее, севернорусское: Ладога. Видать, он, действительно, встретился будущему поэту в тот час: маленькая в стихах трагедия «Безымянные» посвящается Лагоде.

Перед железными колоннами нам, обманутым, отступающим, горестно видящим, как «молнии над нашим краем играют», требовались праведные знаки, уводящие в прошлое. Чтобы из прошлого вернуться обновленными — словно бы взявшими латы предков для будущей победы. Нужны были летописные, набатные

глаголы: «и громяше хоробрые псковичи немци на чуди…»

Герой повести обретает опору и в давно погибших «хоробрых», и в живущих. Боец Лагода ночными верстами уходит к Дону, где полыхает фронт, но подростку он успел наказать: «А ты… смотри и все запоминай. У тебя хороший глаз и крепкая память. Придут наши, кончится война — и, быть может, ты обо всем этом когда-нибудь расскажешь».

Запомнил. И рассказал. Уже под конец своей жизни: последнюю точку в повести о нашествии Прасолов поставил в 1970 году. Последние слова повести — «С этого дня я стал жить с постоянным ощущением неба над собой. Небо, небо, каким только не было оно в моих обращенных к нему глазах!» — невольно побуждают «расшифровать» прасоловское восклицание и как бы вывести его за границы текущего. Да, над повестью грозяще нависает небо войны. Небо вражды. Фашистский бомбардировщик тяжело накреняется, чтобы сбросить на землю смерть. Камнем вниз падает степной коршун — ради своего хищного пира. Но ведь и бомбардировщику, и коршуну — недолгий час. Они улетают. А небо, ясное или облачное, дышит вечностью, озаряет или опаляет мир солнцем, мерцает безднами зарниц. Переливается божественными красками. Волнует тайнами. Тревожит вопросами. А какая душевозносящая, непрестанно меняющаяся картина медленно наплывающих и уплывающих облаков!

И, когда лежишь на лугах у близкой к дому речки — у Черной Калитвы, запрокинув голову вверх, ввысь, в небеса, видишь и тройку пегих, и всадника на белом коне, и журавлиную станицу, а чаще — лодки, паруса, корабли, может, потому, что им легче всего плыть в синем воздушном океане; плыть, на глазах обреченно теряясь, превращаясь в бесформенное облако. Всего лишь облако. Сын признавался матери, что в какой бы день он ни наблюдал небо, всегда появлялся парусник и словно бы звал…

«Белеет парус одинокий» — позже лермонтовское стихотворение так захватит, что Алексей раз десять прочитает его на вечерах в Россошанском педучилище. Знал ли он, что одна из строк — не лермонтовская, заимствованная? Дух — чисто лермонтовский — «А он, мятежный, просит бури…» Мятеж, если он не от народной боли, но личной, групповой гордыни мятеж, — вызов установленному Творцом, Зиждителем, Богом миропорядку, а значит — и самому Богу?

Но креста родной церкви будущий поэт не видел.

При подготовке к опубликованию повести «Жестокие глаголы», до того долго, около пяти лет глухо пролежавшей в редакционном портфеле и наконец, также и с моим содействием,

напечатанной («Подъем», 1980, № 3), мне поначалу казалось, что она не имеет заключительной точки. Слишком резко оборвана. Впрочем, резко — по-прасоловски. Но при повторном чтении стало ясно: повесть имеет и логический, и художественный конец. Что можно было дальше сказать, и, главное, следовало ли дальше продолжать после столь лаконичного, но таящего бесконечность абзаца о небе?

Говорить о нашем наступлении? Но то была бы уже другая повесть. Авторские замысел и воля могли дать и вовсе иное: скажем, повесть разрослась в роман, но об этом остается разве гадать.

Война, и закончившись, продолжалась. Продолжалась она и в его поэтическом слове. Взрослый Прасолов в письме, в разговоре признается, что давние дни войны не дают ему покоя. Давние — без давности: тогда горе одной семьи (погибнут отец и отчим будущего поэта) сомкнется в детской, отроческой душе с горем всей страны — эшелонами раненых, братскими могилами погибших, трудновообразимой чредой-цифрой разрушенных, сожженных городов и деревень.

Россошанский вокзал, забиравший наших отцов на фронт, так и останется для Прасолова испытательно-притягивающим плацдармом тех дней. Не мирным, обновленным, людно-озабоченным или празднично-беспечным, но тем — фронтовым: с осколочными оспинами-выбоинами по фасадному пролету, со спешащими санитарами, с обинтованными ранеными на могильно узких носилках.

Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Мальчишеской жизнью твоей.

Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста.
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!

Душа, ты так трудно боролась…
И снова рвалась на вокзал,
Где поезда воинский голос
В далекое зарево звал.

Не пряча от гневных сполохов
Сведенного болью лица,

Во всем открывалась эпоха
Нам — детям ее — до конца.

…Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.

Правда — честная, строгая, суровая, тяжелая, наконец, — таковой сутью она живет в прасоловской строке. Но чтобы — крикливая? Последняя строфа — как бы добавочная платформа к уже перегруженному составу. Но в ней — позиция. Здесь исполненный достоинства взгляд на иную эпоху, в которой возможна и едва ли не в первой роли витийствует на блескучем подиуме правда крикливая, быть может, не менее пошлая, нежели барабанящая ложь.

(Что же до романтики боя и риска, до жародышащей романтики сабельного похода, столь любезной стихотворцам, возросшим на воспевании бомбистов, чекистов, подвального или же полевого «суда», одержимых и беспощадных, то молодой поэт Николай Дементьев уже вскоре после Гражданской войны возразит трубадуру подобной наступательной романтики Эдуарду Багрицкому честно: «Мы глаз не слепим патетикой кавалерийской степи», — и даже афористически: «Романтика против войны»; иными словами, романтика, естественная, как дерзание разума и сердца молодых в мирной страде, странна, неуместна, фальшива в час войны, тем более войны гражданской. Странноромантический пафос «сабли наголо» гудит даже в стихотворении, исключающем, казалось бы, всякий намек на пафос, — в когда-то широко известном стихотворении «Смерть пионерки»; здесь замороченная безбожным поветрием героиня — больная, умирающая девочка уже не воспринимает даже верующую в крест мать; зато — авторское утешение девочке — «базовое знамя вьется по шнуру», да еще — «Возникает песня в болтовне ребят…»)

Наше наступление — предвестье победы — отзовется сложным многочувствием в душе деревенского подростка, и из увиденного, пережитого в Морозовке прорастут поэтические строки, редкостные по драматической напряженности и чуткости.

Он видел, как в новогоднюю ночь в его родной школе, оккупированной под праздничное застолье, среди горланящих, себя шнапсом оглушающих, украдкой плачет трезвый немец. Отчего он, сильный и сытый, плачет? Слышит ли, как с востока

надвигаются гулы возмездия? Или же слышит, как с запада, из отцовского дома где-нибудь на Эльбе, доносятся робкие голоса родных, зовущих возвратиться? Немец усылает русского мальчишку на холод, за дровами, чтобы тот не видел его слабости. Но тот уже увидел. И, быть может, неосознанно, верно, возвращает этой слабости силу — силу прозревшего в раскаянии человека: врага и уже не врага. С Дона фронтовая волна нахлынет скоро. И рубиновый перстень на мерзлом пальце прозревшего и погибшего подобен сгустку крови. А руки, черные немецкие руки из-под русского белого снега, «к овдовевшей Германии страшно тянулись», — вот оно, прасоловское пространство, заполненное трагедией; очерченное зимним временем, бедой своего села, трагедией своего народа, а также враждебного воинства, шедшего покорить. Но и преодоление трагедии — здесь.

Человечно взрослела и поднималась душа будущего поэта, целительно приобщаясь к народной, православной традиции милосердия, — когда лежачего не бьют, когда в поверженном враге видят еще и чьего-то отца, брата, сына, когда жажда мести пригашается прощающим состраданием.

«Еще метет во мне метель…» — одно из самых пронзительных прасоловских стихотворений. Подросток, переживший чад войны, разорение родины, готовый к праведному отмщению, перед лежачим строем погибших врагов вдруг сурово задумывается — о чем?

И ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.
Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни!
Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

Стихотворение как единственное в своем роде растение на «поле» поэтическом, где сквозная тема — война; где бомбовые воронки — словно жерла гибели, где все застит черный дым, где, поднимаясь, падая, снова поднимаясь, идут в атаки и некогда разглядеть ни друга, ни врага. Прасоловское стихотворение —

вглядывающееся. Прозревающее. И понимает, и объясняет не так, как если бы то был плакат войны, вынужденно простой и прицельный; но и не как тысячи иных хороших поэтических строк о войне, а с особенностью неповторимой. Когда ни враждебность, ни беззлобный миг, ни подобная правота по отдельности не могут дать как глубины переживаний, так глубины слова о переживании. Зато на их жестком сталкивании в отроческой душе и вырастает настоящий поэт.

У Прасолова восприятие войны — в ее трагическом объеме. И память его помнит всех. Своих и пришлых.

Два десятилетия спустя после оккупационного полугодового режима на малой родине, слушая голос юного итальянского певца Робертино Лоретти и мысленно встречаясь с его страной, поэт видит себя двенадцатилетним мальчиком «среди страшно обмороженных итальянцев… у дороги, по которой трое русских сопровождают полуторатысячную колонну изможденных, падающих в снег когда-то великих римлян, миланцев…»

Уже после ухода Прасолова из жизни мне довелось сопровождать группу ветеранов итальянского Альпийского корпуса на их былые фронтовые рубежи — на Миронову гору, на придонские кручи. В придонском селе всех нас поразила одна встреча. Встреча со старой хозяйкой старой хаты под очеретяной (камышовой) крышей. В бедственную для итальянцев зиму милосердной, тогда еще молодой женщине удалось спасти, выходить, поставить на ноги троих обмороженных, схваченных болезнью альпийских солдат. Через полвека — снова итальянская речь. А в горнице — крайняя простота, бедность. Железная кровать, старый стол, иконки в красном углу. Все те же малые оконца и малый свет от них. Время словно бы остановилось на зимней далекой черте, пространство замкнулось бедными стенами.

Я же вспоминал свою поездку в Италию — непорушенную страну непорушенных соборов, — поездку не только по музеям и кладбищам мировой истории и культуры, но и по начальным дорогам Альпийского корпуса, в сорок втором окопавшегося на донских холмах моей малой родины. И об одном вдруг тогда по-настоящему пожалел: о том, что «неведомая и дорогая страна» оказалась воочию недостижимой для Прасолова. Сложись иначе, может быть, в его слове русское поле и итальянская горная гряда предстали бы как близкие, хранимые одним небом; и человеческим войнам не дано поколебать их величавый мир, их геологическое, историческое, духовное бытие.

Память о войне через слово, будь то стихи, повесть «Жестокие глаголы» или трагедия «Безымянные», будь то письма или

дневники — самое значительное в прасоловском наследии. «Когда прицельный полыхнул фугас» — поэт помнит неизменно. Прасоловскому человеку, у кого война огненным всплеском выжгла глаза, лишив надежды когда-либо увидеть белый свет, хочется знать, что он среди живущих — не предвестник беды, а лишь ее памятник.

Но есть на прасоловском поле войны и строки, не столько несущие память и ею одушевленные, сколько тревожно чующие будущее; строки — словно сигнальные, предостерегающие сполохи.

Когда созреет срок беды всесветной,
Как он трагичен, тот рубежный час,
Который светит радостью последней,
Слепя собой неискушенных нас.

Здесь каждая строка — под высоким напряжением! Главное — «рубежный час», в стихотворении он помечен предваряющим — 4.00, 22 июня 1941. Он — «крик», он «весь очерчен кровью и огнем». Откуда этот грозный, апокалипсический слог? Тот рубежный час давно канул, какими новыми бедами он в силах угрожать человеку, его отечеству? Зачем он вызван из небытия?

…Чтоб перед новой гибельною бездной
Мы искушенно помнили о нем.

Поэт, разумеется, знает, что человек и человечество во все времена ходят по бедам, нередко — у края пропасти. Но будущее — какую гибельную бездну откроет завтраидущим? Она — не обязательно война — живет, поджидает, дышит, как расплавленная лава в чреве вулкана, готовая низвергнуться и засыпать жизнь пеплом.

«Гибельная бездна», «рубежный час», «гибельный рубеж» — это те смысловые и художественные знаки и сущности прасоловской поэтики, на которых Город Солнца не воздвигнешь. И даже малый солнечный дворец не выстроишь. Эти знаки, эти сущности словно блуждают в непроглядном мраке — меж человеком и Вселенной.

«Гибельная бездна» — сугубо прасоловское. Разумеется, не придуманное им, а учуянное в самых глубинах бытия и на самых вершинах бытия.

Свой очаг

Предав огню и пеплу слободские хаты, оставив на полях и дорогах убитых, тяжелая пришлая сила, на восходе зимы сбитая с донских крутобережий, отхлынет на запад.

И скоро в Морозовке опять серебристо зазвенит школьный звонок.

К той поре Прасолов — отрок. А прожил — словно бы за весь свой век. Чувство сиротства незаметно, верно легло на сердце. Ни отца. Ни отчима. Ни своего угла. На краю гибели побывал, позже писал об этом — «Все было, даже два случая, когда я еле уцелел от брошенной мною немецкой гранаты и от немецкой мины, расстрелянной мною же из винтовки на реке Черная Калитва».

В школе он приметен: сочиняет стихи, которые помещает покамест в единственной газете — стенной. Рисует. Поет. Но не заносчив и заносчивых не любит. Крикливых тоже не любит. Обычно — внутренне собран, скромен, не по годам строг, но если улыбается — улыбка открытая, искристая.

Друг и помощник ему во всем — Иван Доля, сверстник, соклассник, в фамилии которого словно бы предопределялось благополучное будущее; разумеется, и мягкая фамилия не может застраховать от жесткой судьбы; недоля выпала многим сверстникам.

Читает — за семерых. Что читает? В разоренной Морозовке, с недавно порушенными в войне хатами и не столь давно смятыми, безвременными, безверными душами, после атеистического смерча вынужденными забыть Евангелие, с настоящими книгами было не густо. Всякого рода детские книжки от Гайдара до Кассиля, в описаниях что Гражданской, что Отечественной войн, далекие от всей трагедийной полноты жизни, да еще исторические, политические брошюры заведомой тенденциозности, — просвещения в них не больше, чем затемнения. Ни Достоевского, ни русских мыслителей начала века, ни Бунина, ни Есенина, разумеется, не могло быть в разоренном деревенском краю; так они и в столице — не в каждом хранилище. Но Пушкин, Кольцов, Толстой были и в столице, и в степной слободе. Исподволь образовалась домашняя библиотечка: Пушкин и Толстой — «России два различных века лежат в домашнем сундуке».

Чтение, разумеется, не могло быть спокойным, размеренно-отрешенным от мирского, «дворянским» или же кабинетным: времени не хватало. Подростку приходилось держать как ручку ученическую, так и рукоять плуга. Не только об имени

существительном думать, но и заботиться о хлебе насущном. Делить заботы матери. Помогать стать на ноги младшему брату Ивану. Строить, наконец, свое жилище.

После войны, устав от мытарств по чужим углам, мать с сыном принялись хлопотать о своей крыше. Прежде они жили, вернее, квартировали в самой середине слободы, близко от школы, от улицы Великой. Новую хату принялись строить у околицы, выходящей огородами на приречные луга. Построили, конечно, не в одночасье: полагаться приходилось на свои, вдовьи руки да на руки старшего сына.

Рассказ матери о том (запись 1988 года) естествен в украинском звучании, так он прозвучал из ее уст:

> «Як ластивка злипыла гниздо и рада була, шо диты — нэ пид голым нэбом. Хатка — так соби: саман та очерет. Дви комнатыны, та сины, двое виконэц на вулыцю. А возылась с марту до билых мух осиньних. Время якэ було? Ни стикла, ни гвиздка. И на трудодни — одни палочкы. Голодувалы. Бувало, мисяцами трава та вода — вся еда. У Алеши ноги отикалы от такой еды. Молока бы… Та коровку за яки гроши купыть? Добри люды, правда, пособляли выжить. З миру — по нытци… Алеша, грих обижаться, гарный помощнык був. Правда, кой-колы жалувався: „Мэни ж, мамо, и почитать хочеться“. Кныжка ему — и друг, и пидруга. Помощнык Алеша був добрый. Пустой биготни и шумни вулыци нэ любыв, шумных компаний нэ переносыв. Колы отлучався з дому — так на ричку. Рыбу ловыть. Тоди ричка була нэ то шо тэпэрышный ручий. Тоди широка була, омутна. Одын раз керзову сумку повнехоньку рыбы принис. Добрый довисок на наш стил. Був готовый дэнь и ничь рыбачить. Но стройка дэржала, нэ давала роздыху. Тико осинью вийшлы в хатку. А двери ще нэ було, суконны нимецькы одияло высило на входи замисто двери аж до нового году».

В этом маленьком домике дни сплетались в месяцы честной и бедной жизни. Здесь под мерцающий язычок керосиновой пятилинейной лампы старший сын читал пушкинское, а мать шила, стирала, еду готовила — круг извечных хлопот женщины-крестьянки.

В долгие зимы, когда метель гудом гудела за окнами, собирались в «хатыни» соседки, приносили резные некрашеные прялки. До полуночи длились труды-посиделки. Вертелись деревянные колеса прялок, вращались веретена с катушками,

вырастали нити. Чем-то старинным, спокойным и родным веяло от посиделок. И старинные песни пели пряхи, и могло показаться, что в хате — как бы возвращенная жизнь старокрестьянская, старорусская и что долго еще будет именно так.

Но понимал сын, вздрагивающе-резко чувствовал, что подступает совсем другая жизнь — спешная, жесткая, и никакая метель не заметет большие дороги и большие огни. Тепло в хатке, а заоконный мир — холоден, тревожен, неисходим. Но он зовет. Ветер бьет в дверь…

Хата и поныне (не раз я бывал в ней в конце века и тысячелетия) живая — прежняя, разве что очеретяную крышу заменили железной. Два оконца на улицу. Через дорогу — затравелый выгон: футбольное поле, ребячий стадион. Чуть дальше — клуб. С тыльной стороны хаты ко двору примыкает огород. За ним — луг, речка Черная Калитва, скоро впадающая в Дон, а тот течет еще тысячу верст, прежде чем достигнуть моря.

У Черной Калитвы

В детстве, в отрочестве он часто бывал на речке, тогда еще глубокой и чистой. Любил купаться, рыбачить, да и просто посидеть на берегу в редкий свободный час. В воде отражались облака, и этим земля и небо как бы роднились, далекие — соединялись. Если не стихи, то душевное настроение, позже выраженное стихами: «та двойная, знакомая страсть, что отчаянно кинет в зенит нас и вернет, чтоб к травинкам припасть», вполне вероятно, рождалось, прорастало здесь, на лугах у Черной Калитвы, в полуверсте от домика, им и его матерью слаженного.

На берег родной реки Прасолов придет и взрослым, уже о многом передумав на своем веку — приняв или отринув. Придет наяву, возвратится памятью. В повести «Жестокие глаголы» есть строки, которые можно было бы назвать естественно-ностальгическими при естественной философской глубине:

«Каждое место на моем пути имеет свое название: осинки, пали, кладки, тырло — и бог весть еще какие. Названия, как речевая эстафета, идут одно за другим от села к селу, впадают в иные русла и растекаются по всей земле, на которой человек ничего не оставляет без имени. И часто имя, как урна, хранящая уплотненное до одного слова былое…

Я проталкиваю лодку сквозь ножевые листья осоки к тому месту, где осталось от кладок черное, заиленное, с мертвой водой окно, вижу грязный, ископыченный скотом берег, измятое ведро из-под солярки, распустившее по воде тягучее, тускло-радужное пятно, — и молчу. Одно время сменно и поругано другим…»

Когда ложились на бумагу эти строки, в стране и области все еще не сходил мелиоративный загул. Очередные преобразователи «правили» природу. Осушались приболоченные луга. Распахивались поймы. Спрямлялись реки: старые русла перегораживались, новые — каналы, не знающие отклонений, — пробивались, раня луга. Былинная пойма Черной Калитвы, что веками давала сено для всей округи, была разорена и обезображена, стала зарастать дурнотравьем до самого Дона.

Судьбы малых рек — Черной Калитвы, Тихой Сосны, Потудани (о них писал и их надеялся «преобразовать» еще молодой поэт и губернский мелиоратор Андрей Платонов двадцатых лет) — выстраивались в горький ряд искалеченных.

Быть может, после осенне-грустной встречи с одной из названных речек поэт пишет стихи, в которых, понимая и принимая дерзкое новое, жестко предупреждает, что прогресс, осуществляемый недобрыми руками, обретает явную

бездуховность, убийственную для всего живого.

На берегу черно и пусто.
Себя не держат камыши.
Вода уходит, словно чувство
Из обессиленной души…

Не оживив ни луг, ни поле,
Здесь устроители земли
По знаку неразумной воли
Всеосушающе прошли.

И пятерни корней обвисли
У вербы на краю беды,
И как извилина без мысли —
Речное русло без воды.

Прогресс! И я — за новью дерзкой,
Чтобы ее неумный друг
Не смог внести в свои издержки
Дела слепых и грубых рук.

И все же общая панорама — когда поэт в последний раз приезжал на родной, близ Россоши берег Черной Калитвы, — еще не была нарушена. За речкой жили хутора. По вечерам выплывал дым из печных — и никаких других — труб. Ничто — небоскребное — не застило простор.

Вскоре после того, как Прасолов уйдет из жизни, на его детской родине, на противоположном от Морозовки берегу Черной Калитвы, взламывая привычный, вековечный ландшафт, захватывая все новые десятины земли, станет расти и разрастаться Придонской химзавод.

Громоздкие цеха, конденсатные башни. На многие километры тянутся железные жилы труб: высасывает донские воды разбухший химический монстр. Напротив прасоловского домика — аммиаковый резервуар, гигантское экспериментальное хранилище, каких нет нигде в мире: самые большие зарубежные емкости — гораздо меньше. Аммиак, нитроамофоска — страшная взрывная сила таится в резервуарах и на складах.

Из высокой тонкой трубы весело выскакивает «лисий хвост» — желтый дымок. Временами он оранжевый, временами — ярко-кровавый. Кислотный дым, кислотный воздух, дождь и туман. Сохнет окрестная сосна. По ближним селам сохнут сады и травы. Завод — как приговор окрестным деревням. Кому нужно его

химическое, аммиачное изобилие?

На прасоловском огороде — все от века крестьянское. Лоскуты кукурузы, картофельная ботва, крепкий строй подсолнуха у межи. Посадка, прополка, уборка и… урывочное чтение — здесь протекли многие Алексеевы дни. Казалось бы, все прежнее — огород в своих границах, привычная чересполосица. Но зеленый цвет погашен странным, буровато-ржавым. Вера Ивановна сокрушенно приподнимает огуречную ботву — ботва никлая, сохлая. До осени еще далеко, — стоит июль восемьдесят восьмого, — а зелень жухлая, словно бы отжившая. Словно ее поджег суховейный пал.

У кромки огорода полынь — куст горькой травы, что после Чернобыля у всех теперь на слуху: полынь-звезда, полынь-судьба. Горечь нашего времени!

Атомная станция плюс атомная станция плюс атомная станция. Завод плюс завод плюс завод… «Дурная бесконечность»?

Но ведь не были же дурной бесконечностью десятки ветряных мельниц в Морозовке и тысячи их — на Руси? Ветряных, водяных — в чистом поле, на чистой реке?

Так что же нас ждет, прасоловскими словами говоря, — «очеловеченного мира очеловеченная власть»? Или же — «дела слепых и грубых рук», псевдопрогресс, синтетическая избыточность, всемирный эрзац, подмена природы и духа?

Россошь. Уроки и строки

«Станция зеленая с названьем русским — Россошь» — промелькнет в одном из прасоловских писем. Как начальная строка стихотворения из шестидесятых лет. Есть и более ранние, юношеские стихи, в которых Россошь или прямо обозначается, или угадывается.

Задолго до того, как появилась одноименная станция, сначала названная Михайловкой, позже — Евстратовкой, наконец — Россошью, существовала еще с семнадцатого века слобода Россошь. Слобода у россохи — у слияния рек Сухая Россошь и Черная Калитва; здесь, пополняясь водами меньшей, большая — Черная Калитва — течет дальше, мимо прасоловской Морозовки, покружив на больших лугах, впадает в Дон.

К той поре, как мальчик в первый раз увидел Россошь, она уже более десятка лет значилась городом. И не только значилась, но и обретала городские черты: среди россыпей хат под камышовыми, украинно-очеретяными крышами вырастали трехэтажные «кубические» домины. Молодому городу, полтора века бывшему рядовой слободой Острогожского уезда, еще не приспел час обойти Острогожск населением, но равный с ним статус районного центра он уже обрел.

Россошь после отъезда Прасоловых из Ивановки дала им скудный кратковременный приют: около года семья, как могла, продержалась здесь.

Главные россошанские впечатления его, шестилетнего? Что на всю жизнь отложилось из увиденного?

На станции — длинно вытянутый вдоль перрона одноэтажный вокзал, блескучие полозья стальных рельсов, убегающие в неведомое далеко. И в пяти верстах от станции, на главной городской площади — храм Александра Невского с высокой колокольней, венчающий крест которой всегда словно бы уплывал под облака, когда мальчик запрокидывал голову вверх.

Железная дорога и церковь, столь чуждые друг другу воплощениями полярного — машинно-человеческой спешки и величавой вечности, прагматического и духовного, словно бы сближались. Как образы далекой дали и высокой выси. Поэтическое ощущение запредельности, быть может, подобное тому, какое испытал герой бунинской «Жизни Арсеньева», тоже Алеша, при виде горизонта в Подстепье и колокольни в Ельце, Прасолов-ребенок ощутил прежде всего на степном увале сельца Ивановки и в Россоши — на станционном перроне и у белого храма Александра Невского.

После десяти прожитых в Морозовке лет, он вновь в Россоши. С середины сорок седьмого года по середину пятьдесят первого Прасолов — учащийся Россошанского педагогического училища.

Первые полгода — без ночлежного угла в городе, платить за угол было нечем. Училище располагалось ближе к городской площади, а не к станции, путь же в Морозовку пролегал мимо последней. Денег на пригородный поезд обычно не хватало, каждое утро-вечер приходилось преодолевать верст семнадцать. К зиме завалило снегами, семнадцать верст стали за все семьдесят. Только тогда он смог определиться на жительство неподалеку от училища. Поднакопил денег, кроме стипендиатских. Разгружал вагоны на станциях Россошь и Райновская, хотя разгрузки при его некрепком здоровье были ему тяжелы. Часть заработанного шла на оплату квартирного угла, часть отдавал матери: надо было выплачивать налоги, душившие после войны крестьянское подворье.

Дорога в несколько верст от сельской хаты до городского училища — еще и дорога от культуры деревенской, жестоким веком жестоко порушенной, до культуры классической, пусть и в общих, приближающих началах. В училище многое было на редкость — богатая для послевоенного времени библиотека, хорошая подборка патефонных пластинок с записями классической музыки, народных песен, репродукции знаменитых полотен в альбомах и листах, музыкальные инструменты — от фортепьяно и виолончели до ливенки и балалайки. Подобрались и знающие наставники, иные — еще староуниверситетских, гимназических традиций. Повидав на своем веку и лад, и разлад, они учили своих питомцев подлинному и высокому. Разумеется, от идеологически предписанного, злободневного, текущего было не уйти, но вместе с тем предоставлялась возможность всерьез «общаться» с Рафаэлем и Рублевым, Бахом и Чайковским, Гете и Достоевским, а они были как посланники вечности.

Уроки — даже рисования — озаряла влекущая даль. Полотна Шишкина, Саврасова, Левитана, Васнецова, Крамского — сказания о родной земле с летописных начал, история родины — в красках. А дышащая трагедией и безумием репинская картина «Иван Грозный убивает своего сына» или же суровая картина уроженца Воронежа художника Ге «Царь Петр и царевич Алексей» являли Алексею Прасолову и его сверстникам раны рода человеческого: приоткрывали завесу династических недугов, драму истории не только русской, но и всемирной, с ветхозаветных времен длящегося разлада отцов и детей, что позже в прасоловской строке отзовется афористически: «От рук отца — бездомный холод». Брюлловский «Последний день

Помпеи» словно бы являл апокалипсический смысл — прообраз последнего дня всего человечества.

Великим полотнам — скромным репродукциям — дано было соединить страны, народы, времена и пространства так, что они, вполне дружески чуть теснясь, размещались в рисовальном классе Россошанского педучилища.

Подобное ощущение рождалось и когда будущие педагоги слушали классическую музыку, за которой наплывали волны народных мелодий, задушевных народных песен.

Музыку Прасолов мог слушать часами. У него был отменный слух. Он подавал надежды в игре на скрипке. Михаил Шевченко, будущий литературный работник, поэт и писатель, тогда был самым молодым учителем — преподавателем музыки. Всего на год был он старше Прасолова, они скоро подружились. И на всю жизнь. Тогда же, в училище, преподавателю музыки казалось, что у Алексея — вполне возможное музыкальное будущее. Экзамен по скрипке он выдержал, не без внутренней улыбки исполнив народную песню «Посею лебеду на берегу». Зачем сеять лебеду, ее и без того хватает, ни учитель, ни ученик объяснить не могли. Чисто отечественное занятие? Как бы то ни было, скрипка хорошо справилась с травой-лебедой, но в жизни Алексея первенствующей музой так и не стала; более того, Прасолов, уже известный поэт, несколько раз брал скрипку в руки, но никогда не пытался играть.

Еще до прихода в училище он знал многие русские, украинские песни, а в училище часто пел, особенно — «Тонкую рябину», «Есть на Волге утес», «Вниз по матушке, по Волге», «Реве та й стогне Днипр широкий», «Стоить гора высокая»; а из современных — «Враги сожгли родную хату», «Вьется в тесной печурке огонь», «Эх, дороги».

Литература была и вовсе безбрежной, беспредельной, в ней все сходилось, все умещалось — нынешний день и древность, недавняя Великая Отечественная война и далекая сеча на поле Куликовом, степь и море, деревня и город, музыка и краски всего мира. Обещая будущее, дорога разворачивалась и в прошлое — «Дом у дороги», «Тихий Дон», «Война и мир», «Задонщина», «Слово о полку Игореве»… Песнь об Игоревом походе — из самых любимых. Здесь все волнует Алексея — и юная, почти языческая, почти сказочная поэтичность; и история, пространственно столь близкая: к Дону устремляет своих борзых коней Игорева рать; и высокое чувство родины — «О русская земля, ты уже за холмом!..»

Словно духозахватные, всевидящие поводыри, великие творения европейского мира — «Дон Кихот», «Гамлет», «Божественная комедия», «Илиада», «Одиссея» — уводили в

далекие времена и пространства, погружали в тайны душ человеческих.

Случалось, что Прасолов коротал в аудитории всю ночь, до утра читал.

Жизнь, понятно, не замыкалась училищными стенами. Алексей и его сверстники — среди самых близких Григорий Калганов, Иван Татаренко, Николай Шевцов, юношеская любовь поэта Ольга Хуторная, еще учитель-друг Михаил Шевченко — охотно участвовали в городских починах. Сталинский план преобразования природы позвал их на россошанские песчаные пустыри. Теперь там, остановив пески, стоят сосновые редуты от засух, и немало сосен — прасоловских. Немало посажено им кленов, берез в училищном сквере, в городском парке, на городских улицах.

А старания и страдания — помочь реке, благоустроить ее берега!

Встает над городом рассвет.
Широкий мост. Речонка вьется
Уж сотни лет и сотни лет
Сухою Россошью зовется…
Мелеет речка с каждым днем.
Трава встает над желтой мелью.
Но мы на то ведь и живем,
Чтоб украшать своим трудом
И нашу жизнь, и нашу землю!..

Наивные и словно бы не прасоловские слова, кроме разве — «желтой мелью»? Лозунговые, того времени заурядные, общеизвестные мысли? Но — нет. Трудиться для жизни и родной земли — идущее от самого естества поэта; с детства труженик, достаточно испытал он гнетущую тяготу и бедную скуку поденщины и все же сумел почувствовать в труде куда более весомое, чем бремя поденщины. Кольцовский косарь словно бы заступит на поле прасоловского стиха…

Честный человеческий труд станет героем многих поздних и зрелых прасоловских стихотворений. Какая б ни была эпоха, каменщики, взрывники, сварщики, строители, крановщики, грузчики, водители, механизаторы, словом, люди труда крестьянского и машинно-городского жизнь понимают как власть и святыню труда; каторжная работа, сизифов труд, рабский удел — не для их душ; для каждого из них «… весь мир — большое дело, которым жив он, болен, и богат».

А эти первые о труде стихи — пусть наивные, но искренние:

их не метит ни крикливая правда, ни барабанящая ложь, одинаково чуждые поэту, его сердцу и разуму.

Была у него из конца в конец стократ исхоженная улица — Февральская, где он по распределению и по душевному влечению вел продолжительные беседы с жителями перед выборами в Верховные Советы республики и Союза. Еще — практика в школе, походы на местные заводы и в окрестные леса, встречи в городской библиотеке, училищные концерты, литературные викторины — все как у всех.

Были часто посещаемые им и его сверстниками места отдыха. В городском парке весенними вечерами вздымал трубы духовой оркестр, и всегда можно было услышать любимое: «Дунайские волны», «Амурские волны»; в кинотеатре «Маяк» всем училищем были пересмотрены «Кубанские казаки», «Смелые люди», «Молодая гвардия», «Мичурин», да едва ли не все прокатные фильмы послевоенного времени; а еще — зеленый лозняковый луг у слияния речек; а еще — далекий лесок с земляничными полянами.

И был уголок самый сокровенный, куда Прасолов приходил один — любил приходить один — у железнодорожного моста через реку Черная Калитва меж Россошью и Морозовкой. Здесь в весенние теплые дни он подолгу наблюдал, как, примедлив тяжелый бег колес, сквозь мостовую арматуру двигались поезда. Позже — «Скелет моста ползучий поезд пронзает, загнанно дыша…»; путь верстался во все концы, мелькали на вагонах таблички-названия знаменитых городов, славянских и иных столиц, — широк, действительно, широк был простор родной страны.

А высокую небесную синь белыми, на глазах удлиняющимися стрелами искалывали реактивные истребители: после войны близ Россоши стремительно был построен военный аэродром. И гражданские самолеты пролетали над городком, ровен и мирен был их гул.

И снова, откуда взявшись, плыли над головой облака, похожие на тройку пегих, появлялись всадник на белом коне и тот странный белый корабль. И, быть может, снова поднималось знобкое, горячее жжение — как в детстве — «оторваться от земли на планере, на самолете, на воздушном шаре».

В лето 1950 года, за курс до окончания училища, группе выдалась поездка в Каменную степь, километров за полтораста от Россоши. Тогда-то, в двадцать лет, Алексей увидел Дон — впервые по-настоящему его почувствовал. У Белогорьевской, близ Павловска, переправы Дон не широк. Но везде широк и глубок иным: древнейшая река человечества, где мирно или чаще

враждебно пересекались пути стольких племен, народов, где разворачивались великие сечи и мятежи, где дано было взойти великим именам и великим глаголам от «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» до «Тихого Дона», где все дышало и дышит памятью, кровью и вечностью, — при таком чувствовании географически обозримый Дон являл историческую бесконечность.

Пришлось долго ждать парома. А когда погрузились и паром медленно двинулся на стремнину, Прасолов увидел вдруг в глубине желтовато-серой воды полуторку. И еще полуторка, железный понтон, баркас, лодки, брички, колеса автомашин. И каски, каски… Похороненная на речном дне война, а похоронки — у солдатских вдов. И довоенные фотографии погибших — у солдатских вдов. А сами погибшие — чьи, чьи на дне, на пятиметровой глубине донской воды? Для молодого поэта увиденное было, как погружение в небытие, загляд в живую гибель, и впервые — он чуть не задохнулся.

Много позже, в 1988 году, московский «Современник» издаст необычный, строгий сборник. В горизонтальном овале на суперобложке — три слова: «Алексей Прасолов. Стихотворения». Черно-белый фон. Как бы в мировом пространстве, среди снега и зимних вод — одинокая лодка и одинокое, нагое дерево, вырванное с корнями, то ли парящее в воздухе, то ли впаянное в воздух.

Две краски, черная и белая, контрастные, как ночь и день, определяют фон и настроение всей книги, они словно бы перетекают с суперобложки и переплета на форзац, где изображена земля, сплошь изрезанная оврагами, а у горизонта, может, под ветром, может, от собственной внутренней скорби тревожно клонятся долу редкие деревья.

Стихотворениям предпослан портрет, достаточно условный: поэт, взрастающий из земли, — как эти всполошенные ветрами деревья, под одним из которых он, лежащий, в свободном раздумье, и корневая система которых открыта — как тревожная система органных труб.

Изобразительный мир, столь созвучный миру поэтическому, заключен в рамки, но он рвется из рамок, ему тесно, он переплескивается через линейные преграды — «чтоб запредельное постичь»?

Видим поле, мать с ребенком, арбу и лошадь; видим довоенную деревню и деревенское: плетень, колодезный журавель; видим мальчика, лежащего в хлебах, — прямая иллюстрация прасоловского: «Когда созреет срок беды всесветной».

Вызрел, полыхнул тьмою и пламенем страшный час. И деревенская девочка бежит через поле, вскинув испуганное, гримасой страха искаженное личико на низко летящие самолеты с черными крестами. И ребенок, и мать отчаянно, разлучно прижимаются к мужчине, родному человеку, по всему видать, уходящему на фронт. Что ждет его? Может, и его примет небывалый прежде иконостас — портретный солдатский мартиролог — не в избе, а на необозримом российском пространстве, на фоне овражистой земли. Потрясает полевая дорога возвращений, неисчислимо, словно похоронками, устланная фотографиями не вернувшихся с войны, и ребенок в море одуванчиков; воздушно-легки одуванчики, но густой разброс фотографий-похоронок — начало безотцовской, сиротской судьбы. Война уходит и остается: сожженная деревня, старуха на пепелище, остов печной трубы. Дом можно построить, а с фронта непришедших — не вернуть. И снова пронзающий душу и память разворот — дети войны на пнях порубленных деревьев… вырубленное поколение. Как дитю передать ток срубленного дерева, как на гибели взойти жизни?

Художник Станислав Косенков словно бы стоял с Алексеем Прасоловым на ивановском, в хлебах, полевом увале, у морозовского большака, на той жуткой донской переправе, откуда видно было во прахе войны, лежащей на мутном дне, трагический июльский день сорок второго, тягостный для глаз музей-утопленник.

В жизни они никогда не встречались. Но — дети одного времени, одной беды, одной родины — встретились чуткими, помнящими душами. И их объединенные слово и звук, цвет и линия — как родные.

Ранняя рукопись

В анкете при вступлении в Союз писателей СССР в графе «Начало литературной деятельности» Алексей Прасолов укажет год — 1949. В осенний дождливый день того года он передаст невзрачную ученическую тетрадь со своими стихами молодому, на шесть лет его старше журналисту Борису Стукалину, незадолго перед тем назначенному в Россошь редактором районной газеты «Заря коммунизма». Название этой газеты не раз менялось, она побывала и «Сталинской искрой», и «Ленинской искрой», пока не закрепилось расплывчатое, общепризывное — «За изобилие».

Позже Стукалин пройдет большой журналистский и издательский путь, станет союзным министром печати, а еще, что важнее, собирателем поэтических имен и страниц родной земли, чутким на литературные дарования, радеющим за них. Он подготовил к изданию творческое наследие своего друга — поэта Василия Кубанева, с которым до войны работал в острогожской районной газете «Новая жизнь» и который подавал надежду стать неповторимым явлением отечественной поэзии, однако угас в раннем, едва задвадцатилетнем возрасте. Но и то, о чем успел сказать Кубанев в свои двадцать, иным не поднять и за всю жизнь. Стукалин открыл Кубанева всесоюзному читателю.

Все это — впереди. А тогда, по приезде в Россошь, новый редактор районки был мало кому известен. Но, наверное, так естественно, так убедительно держался на встрече с учащимися — будущими педагогами, что Прасолов поверил ему порывисто и без оговорок.

С той невзрачной ученической тетради по-настоящему и началось. В россошанской районной газете появляются первые прасоловские стихи.

Скоро Стукалин переедет в Воронеж, возглавит областные редакции: сначала — «Молодого коммунара», затем — «Коммуны». И Прасолов станет писать ему в Воронеж, за исключением времени, когда сам на два с половиной года «увязнет» в областном центре. Письма-размышления, письма-диалоги. Зарисовки. И, разумеется, стихи. Целая рукопись.

На воронежской земле написанная, рукопись через долгие годы на воронежскую землю и вернется. В присланной из столицы бандероли — несколько десятков тетрадных листков, с двух сторон, за малым исключением, исписанных то размашисто-крупным, то утесненно-мелким почерком.

Из сопроводительного письма, «из первых уст» узнаем о начальных прасоловских поэтических опытах, шагах, вехах

(письмо Б. И. Стукалина, 1997, октябрь — В. В. Будакову).

«Мне не сразу удалось найти рукопись А. Прасолова. Мой личный архив разросся до немыслимых размеров, к тому же он совершенно не упорядочен. Так что потребовалось немало времени на поиски. И вот, наконец, пожелтевшие от времени листки (им уже 40–48 лет!) — перед моими глазами, а теперь — и перед вашими.

Что стоит сказать об этих рукописях? Их можно разделить (и по хронологии, и по содержанию) на две части — тетрадка со стихами, написанными в основном в 1949 году, и письма с вложенными в них стихами (1951–1956).

Вторая часть рукописных материалов сохранилась лишь частично. Писем и стихов было довольно много. К сожалению, большая их часть не сохранилась, а возможно, некоторые из них все-таки лежат среди моих бумаг (постараюсь продолжить поиски).

Что касается тетрадки со стихами, то история ее такова.

В 1949 году я был переведен на работу в россошанскую районную газету. Однажды (это было, кажется, осенью того же года) меня пригласили на встречу с учащимися педагогического училища. Не помню, как называлась моя лекция. Речь шла о юбилее какого-то писателя.

Аудитория оказалась любознательной. Вопросам не было конца. Даже после того, как истекло время, отведенное для лекции, я продолжал „отбиваться“ от наиболее активных слушателей. Среди них был невысокого роста худощавый паренек с нездорово-бледным лицом. Он стоял молча и, видимо, ждал подходящего момента, чтобы обратиться ко мне. Когда такой момент наступил, я услышал негромкий глуховатый голос:

— Вот мои стихи, посмотрите и оцените. Моя фамилия — Прасолов. Алексей Прасолов.

В руках у него была тоненькая ученическая тетрадь. Я пообещал внимательно ознакомиться с рукописью и высказать свое мнение.

Как только выдался свободный час, раскрыл прасоловскую тетрадь. Стихи были довольно слабыми, ученическими, навеянными скорее атмосферой того

времени, газетной публицистикой, чем собственными наблюдениями, потребностью сказать свое слово о происходящем вокруг.

Но встречались и вполне оригинальные строки, свежие образы, словесные находки. Чувствовалась склонность к обобщениям, что потом стало столь характерным для позднего Прасолова.

Я пригласил молодого поэта для обстоятельного разговора в редакцию. Как мог, убеждал его, что он может „петь“ своим голосом, разрабатывать свои темы и притом по-своему, без подражательства кому бы то ни было. Предложил Алексею сотрудничество в газете.

С того времени мы встречались довольно часто, иногда засиживались до позднего часа в разговорах о поэзии, писательском мастерстве, долге литератора перед обществом и т. п. Каждое новое стихотворение Прасолова тщательно разбиралось в этих беседах. Некоторые из них отбирались для опубликования. Когда я уехал из Россоши, мы несколько лет переписывались. И это было как бы продолжение тех памятных бесед.

Алексей охотно сотрудничал в россошанской газете. Чаще всего сочинял стихотворные подписи под карикатурами, критические заметки и зарисовки, вроде сохранившихся в моих бумагах „С шапкой набекрень“. Под влиянием дружеской критики и советов, а более всего в результате мучительных поисков и самоанализа Прасолов очень скоро понял, сколь несовершенны его творения и как они далеки от созревших в то время замыслов. Его тянуло к философской лирике тютчевского толка, к постижению сокровенных глубин человеческого бытия.

Когда спустя три года после знакомства с Прасоловым я переехал в Воронеж, став редактором „Молодого коммунара“, то сразу же пригласил его работать в редакцию. Должности литературного сотрудника свободной не оказалось, поэтому Алексея для начала зачислили корректором. Он некоторое время корпел над газетными гранками, выполняя довольно изнурительные при его нездоровье обязанности. В литературную среду областного центра входил трудно. Долгое время держался особняком.

В те годы я работал над первым сборником стихов и прозы Василия Кубанева. Шли напряженные поиски, казалось, полностью погибших рукописей. Алексей был в

курсе моих усилий и с искренней радостью, прямо-таки с восторгом воспринимал каждую новую находку, старался поддержать меня. Упоминаю об этом потому, что в его письмах ко мне часто затрагивалась кубаневская тема.

Позже, когда Прасолов, не найдя своего места в Воронеже, разочаровался в нравах, царивших тогда в литературной среде, покинул город, наша переписка возобновилась. Очень жалею, что не сохранил письма Прасолова, стихи и вырезки из газет, в которых он работал. Это уже был иной Прасолов, много испытавший и переживший…»

Когда рукопись, извлеченная из частного хранилища, становится достоянием общественной, литературной среды, возникает естественный вопрос: как должно с нею поступить? Публиковать? Пусть даже и далекую от совершенства? И если публиковать — то полностью или выборочно? Или разумнее, быть может, сразу определить ее на верное хранение в музейный фонд? Но серьезный художник интересен в каждой своей странице, даже и самой ранней, еще наивной, еще не характерной, и литературоведческая наука в серьезном наследии традиционно ничего не оставляет без внимания, так что публикация рано или поздно осуществляется.

Разумеется, здесь таится опасность попасть в ситуацию кафкианскую, в самом деле приключившуюся с эпистолярно-дневниковым наследием трагического художника изломанного двадцатого века. Кафка завещал, как известно, другу и душеприказчику Максу Броду сжечь, уничтожить свои неопубликованные письма и дневники; причем уничтожить именно все неопубликованные рукописи, не находя возможным хотя бы частичную их публикацию. Намерению писателя, видимо, существует объяснение, о котором мы можем только догадываться, но до конца никогда не узнаем. Однако душеприказчик ослушался писателя и опубликовал подлежащее уничтожению, и теперь болезненно трагическая душа открывает нам свои бездны. Но разве стоят наши изощренные читательские чувства замогильно причиненной человеческому сердцу боли, последних чувств ушедшего, принадлежащих единственно Богу?

Есть имя и пример более близкого — земляческого ряда: Бунин. В своем литературном завещании он строго и четко определил блок произведений для посмертных публикаций, исключив многие страницы из ранее напечатанных, не говоря уже о рукописных.

Так что требуется необходимая чуткость, немалый

нравственный такт при публикации неопубликованного, знание всего творческого пути художника, на котором он, быть может, в конце стал бы далек от многого из того, чему в начале следовал.

Nascuntur poetae. Поэтами рождаются. И тем не менее и им приходится идти когда кратким, когда затяжным путем, освобождаясь от наивного, случайного, стороннего. Но в этом наивном, случайном, стороннем часто — своя жизнь, своя тайна, своя судьба.

Ранняя прасоловская рукопись (хранится теперь в фондах Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина) была опубликована частично в воронежской газете «Коммуна», 1988, 30 апреля; более полно — в ростовском журнале «Дон», 1988, № 8; наконец — в сборнике произведений Алексея Прасолова «И душу я несу сквозь годы…», Воронеж, 2001.

Послевоенным временем страны и миром творческой личности, требовательно ищущей себя на заре юности, дышит прасоловская рукопись. Многое, что было реальностью того времени, что волновало сердце молодого поэта, теперь стало достоянием истории, утратило живую боль и значимость, отошло в память, а подчас — и забвение.

Что-то, однако, вошло и в наш день. Скажем, поэтическое слово Кубанева — теперь неотъемлемая страница поэзии предвоенного времени.

Тогда же существенный разговор о нем только начинался, и кубаневский поэтический мир был известен немногим. Прасолов был очевидцем открытия большого, рано ушедшего из жизни таланта, и Кубанев — и как человек, и как поэт — был ему необходим. «Почему в моем пути нет такого жаркого, неуемного товарища? Мне бы иного не надо ни за что! Тогда бы мне не пришлось сделать столько ненужного…»

(Здесь, пожалуй, время вспомнить и о Сергее Чекмареве. С Василием Кубаневым они истинно родственные души, друг друга не знавшие братья — по вдохновенно-поэтическому, по цельности и искренности, по пытливой преданности эпохе, по честности перед жизнью, для обоих оборвавшейся рано, в двадцать с небольшим лет. Эта родственность двух молодых дарований как бы засвидетельствована изданием их произведений под одним переплетом — «Стихи, дневники, письма», «Молодая гвардия», Москва, 1981.

Есть роднящее Чекмарева как с Кубаневым, так и с Прасоловым. У всех троих письма перемежаются стихами, а стихи являются и письмами. Для всех троих областной Воронеж — веха судьбы. А для Чекмарева и для Прасолова на короткий срок — еще и районная Анна. С неменьшей драматичностью и

проницательностью, нежели Прасолов, предсказал свой конец и Чекмарев: «И что закричал он — никто не услышал, и где похоронен он — неизвестно…»; так и случилось.)

В письмах, да и стихах Прасолов открывается биографически: здесь штрихи его не столь долгого учительствования, с которого начинался его трудовой путь. Но прежде всего в рукописи воочию видишь творческие начала, смысловые и стилевые поиски молодого автора. По мысли, по сердечному впечатлению здесь нет строк, за которые было бы неловко. Содержание их — труды человека и родины, чистая мечта и страсть молодого сердца. Здесь живое чувство родного поля, отчего края, села с хатами-мазанками, где «люди все — как из одной семьи». Не ложен и молодой пафос строительства, пусть последний и пронизан тогдашними пропагандистскими токами; но ведь пафос-то строительства, а не разрушительства. Все вбирается поэтической душой — память войны, колхозные будни, полевая страда, постройка хаты для одинокой птичницы, строительство Волго-Дона…

«Бесстрастным поденщиком никогда не буду», — убежденно заявляет в письме молодой поэт. В стихах — открытое, искреннее чувство. Их наивность пройдет, придет строгая глубина. Страницы рукописи свидетельствуют о требовательности автора к себе. Строки, которыми он удовлетворился не вполне, подчеркнуты как подлежащие правке. Таковых строк немало. Но есть и иные — провозвестники зрелого стиха. «И хлеба в безмолвии подняли в синеву зеленые штыки» — здесь уже угадывается прасоловское позднее: «И трав стремленье штыковое…»

Это начало, которое обещает многое. Строка словно птица на взлете. Когда взлетит — откроет даль и высь.

«К старому возврата больше нет» — такими словами из есенинской поэтической строки, переведенными в строгую строку письма, заканчивается ранняя прасоловская рукопись.

Сельский учитель

1 июля 1951 года в Россошанском педучилище был выпускной вечер — со всем, что выпускным вечерам сопутствует: прощальный вальс, полночное грустно-веселое гулянье по улицам и в городском парке, прогулка к берегу речки. И голос девушки — то была Ольга Хуторная — невозвратимо удаляющийся голос.

А скоро Алексей провожал своих — большую часть группы — на Алтай, напутствовал отъезжающих шутливым и длинным стихотворением, в каком взывал: «За трудом и недосугом, иль за выбором невест не забудьте имя друга и родимых наших мест».

(А взял бы и сам поехал на Алтай? Зауральская Русь с ее потомками первопроходцев более добра к человеку, нежели густозаселенная европейская территория, — это он не раз слышал. Да и друзья по училищу были бы рядом с ним в том алтайском далеке. Может, оттуда веселей и сильней начал бы «поход» на Москву? Как с алтайской Катуни — будущий создатель «Калины красной»?

Или судьба уже предуказала путь, не поправимый внешними шагами и внешними действиями не отклоняемый?)

В час отъезда друзей-выпускников был грустен, все повторял, что со многими уже не доведется свидеться.

Так и сталось.

Полтора года Прасолов учительствует в россошанской округе — в семилетних школах в селах Первомайское и Шекаловка. В учительстве добросовестен и заметен. В пятьдесят втором он даже пишет — «Сентябрьским днем» — прямо-таки гимн учительскому делу. Ученики его любят. Отцы-матери учащихся уважают за крепкое крестьянское начало: в доме, где квартирует, всегда дров наколет, воды принесет, калитку починит, плетню не даст упасть.

Но отсечен алтайский учительский вариант, явно тяготит и местный, сельскопросветительский. Молодой учитель не чувствует свое учительство как главное дело будущей жизни. Еще когда были дни практики в родной Морозовской школе в марте 1951 года, он тем же месяцем посчитал необходимым без долгих проволочек объяснить свое состояние в письме к недавнему преподавателю, а теперь другу Михаилу Шевченко:

> «В классе чувствуешь себя как дома, среди своих… Несмотря на все это, особого пристрастия к школе я не имею. Давал уроки — умело играл роль учителя. А все потому, что не мое это дело. И я думаю: лучше быть заурядным учителем (но имеющим к своему делу

сердце), чем быть незаурядным игроком в учителя».

О пребывании и учительствовании в Первомайском будущий поэт пишет неизменному своему наставнику (письмо Б. И. Стукалину, 1951, октябрь).

> «После долгого упорного молчания, наконец, пишу вам обо всем вкратце, что мною сделано, видено, пережито. Два месяца, как я учитель. Классы здесь тяжелые и в отношении успеваемости, и дисциплины. В моем — 5-ом „А“ — большая половина учеников из соседнего села Лещинково (в пяти км от Первомайска). Работа с их родителями трудна. Однажды пошли организовывать родительское собрание — и не один из родителей, зная об этом, не явился. Несознательность. Но все-таки народ здесь золотой… Колхоз — настоящий со стороны организации. У людей нет никаких иных забот и дум, как только о нем. По сравнению со здешним, наш колхоз — проходной двор, где находят пристанище заматерелые дельцы. Здесь делец — что муха в сметане. Был председатель плут, грубиян, можно сказать, бандит (в войну расстрелял одну колхозницу — будто бы невзначай) — сбросили его всем колхозом, добрались до районного бюрократического гнезда и разворошили его, пожаловавшись „в область“. Они были заодно с этим председателем. Это мне рассказывали.
>
> Живу я на квартире у конюха Шевченко. Типичные колхозники. Он воевал и в гражданскую, и в эту войну пулеметчиком. Он имеет награды за боевые подвиги, хозяйка — за трудовые. Живем мирно и согласно. Скоро откроется охотничий сезон, и я с дядькой пойду на охоту с шомпольным ружьем. Он заключил договор на три месяца, — так у него заведено — каждый год брать обязательство добыть пушнины на столько-то рублей. Одно время он был на втором месте по Воронежской области.
>
> Я постоянно работаю над той повестью и другими вещами — стихами и презренной прозой. В следующем письме пришлю Вам… главу, которую Вы весной разгромили. Обработаю „доотказа“.
>
> А сейчас попотчую Вас плодами своей бессонницы и „вдохновенных трудов“».

Далее следуют стихи: «Радуга», «Давно уж ночь, а матери не спится…», «Криница», «В универмаге».

В конце письма — приписка: «Брат мой приехал 29 августа. Был в станице Вешенской, работал прицепщиком. (Попал туда под влиянием „Тихого Дона“, что я ему кое-когда читал.) Видел М. А. Шолохова на первомайских скачках. Одна казачка, у которой он жил, хотела его усыновить, но он после 5 месяцев приехал домой. Учится в школе рабочей молодежи на станции Россошь. Интересная натура! Ей-богу. Пешком шли они вдвоем до самой Вешенской: вдоль по Дону!»

А о кратком учительствовании Прасолова в Шекаловке рассказывает письмо тогдашнего завуча школы — свидетельство большее, нежели казенная справка об учителе и школьной жизни (письмо В. Ф. Бутко, 1987, январь — В. В. Будакову).

> «Обычно в середине августа прибывают молодые учителя, только что окончившие педучилища и пединституты. В августе 1952 года приехал в Шекаловскую семилетнюю школу и Прасолов учить детей русскому языку и литературному чтению. Шекаловка находится в двадцати семи километрах от Россоши. Село отдаленное, глубинка. В пятые — седьмые классы ходили дети из десяти хуторов, кроме Шекаловки. Алексею Тимофеевичу дали русский язык и литературное чтение в пятом и шестом классах. Я, работая завучем школы, по долгу службы контролировал работу учителей, помогал молодым. Посещал уроки и Прасолова. К урокам он готовился добросовестно, хотя программный материал знал отлично, писал подробные поурочные планы и в моем присутствии строго придерживался их. Сказались характер Алеши, трудолюбие, воспитанность, а также педагогическая подготовка, полученная в Россошанском педучилище. Отличался Прасолов эрудицией, начитанностью. Он знал наизусть уйму стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока… Кумиром у него был Есенин, с томиком которого он никогда не расставался.
>
> Во время моего посещения уроков русского он проводил их методически правильно, примеры придумывал на ходу, его память хранила бесчисленное количество примеров на любое грамматическое правило. На уроках литературного чтения много читал наизусть… Дети любили своего учителя, он их тоже любил. А большинство детей были полусироты: у многих отцы остались на полях сражений Великой Отечественной войны.

В то далекое время мы были молоды, много свободного от работы времени отдавали культурно-массовой работе, ставили пьесы, организовывали концерты, выступали с лекциями и докладами. Прасолов читал стихи Есенина, Блока, свои стихи. Колхозники с удовольствием посещали наши концерты, благодарили нас. На такие концерты в хутора, в четырех — пяти километрах от Шекаловки, мы ходили пешком, после работы, возвращались ночью, не чувствуя усталости, довольные тем, что принесли какую-то радость людям.

В то далекое время Алеша был человеком общительным и жизнерадостным… Полюбил он и девушку, часто проводил с ней свободное время, читал ей стихи. Этой девушкой была примерно того же возраста учительница истории Хаустова Александра Васильевна. Но не ответила она взаимностью, любовь, что называется, не состоялась.

Со мной у Алексея Тимофеевича отношения были чисто деловые: во мне он видел старшего товарища, завуча, прислушивался к моему мнению, к моим замечаниям. Свободного времени у Прасолова было много, и этим свободным временем он не всегда мог распорядиться умело. Уже тогда он мог беспричинно после работы выпить, а на второй день ходил как побитый. Директор школы и я за это по головке не гладили, ругали, разъясняли, что выпивка ни к чему хорошему не приведет. Алексей Тимофеевич слушал, соглашался, никогда не противоречил, обещал не пить. Но проходило какое-то время, и он срывался…

Работу учителя Алексей Тимофеевич не любил. Буквально с первых дней он просил отпустить его в „Молодой коммунар“ — туда его приглашал, если не ошибаюсь, Борис Стукалин. Просьбы становились все настойчивее. В конце декабря 1952 года директор школы, посоветовавшись со мной, отпустил Прасолова…»

Шекаловка не могла стать пристанью молодому поэту, который держал весло наизготове и все время порывался плыть дальше. В селе Прасолов не встретил души, которая бы стала родственно близкой, сердца, которое бы страстно потянулось к его сердцу. Люди вокруг — и учителя, и колхозники — были всякие, но чаще — трудяги и разумники, доброжелательные и отзывчивые. Днем, в совокупной деловитости, занятости, этого

вполне хватало, чтоб не чувствовать себя одиноким. Но вечера и ночи часто принадлежали его одиночеству.

У одиночества и горькой памяти свой курс. Десять лет прошло после оккупации, а перед глазами — как вчерашнее: черное углище слободы, погибшие вразброс на белых снегах — холодный триумф смерти. И страдница-мать. Оставленная мужем. Поруганная нашествием.

«Солнечное государство» детства он создал только в мечтах — «в мечтах, не сожженных дотла». Солнечная детская страна — такая бедная придумка, фантазия, утопия, как сама древнегреческая повесть «Солнечное государство», к которой скорее всего и восходят прасоловская метафора, прасоловский образ. Не было солнечного начала даже в детстве.

Однажды познав иллюзорное освобождение, даваемое спиртным, и теперь имея деньги, чтобы его добыть, молодой учитель в Шекаловке все ближе подступался к зеленому омуту. Хмелел — прошлое и будущее отпускали, теряли власть, стушевывались. И во всю даль вставал его мир — воображенный и реальный. И словно вел поэта двойник.

Поэт, когда его забирал хмель, никогда не писал стихи, словно стыдясь оскорбить музу другим, на себя не похожим Прасоловым. Теряющим свою внутреннюю строгость. Словно бы кем-то подмененным. А может, в такие часы высокая его муза хранила от неверной строки.

Он видел далекие страны, города, моря. Далекие и близкие лица. Вычитанные в книгах или однажды увиденные на полотнах художников, в кино, они шли к нему… За околицей было много простора. Земля в травах и небо в звездах имели свои, обращенные к нему голоса. Он слышал их, понимал, он верил, что все — именно так.

«И непокоренный простор мирозданья — родная стихия моя», — заявит чуть позже. Это строки из стиха, предваряющего прасоловские космические мотивы. Существует и иная концовка, где авторская уверенность своими кипящими силами познавать и проницать тайны сердец, простор мирозданья остужается конечной строкой о том, что в мироздaнческой бесконечности «… мы не оставим следа».

В пору учительства в Шекаловке в стихотворении «Ты расскажи мне, Сент-Экзюпери…» молодой поэт называет мир ненадежным. Он понимает, ощущает это неумолимое единство: коль есть посланник зари — Маленький принц, есть и принц Тьмы.

Но почему его так тяготит педагогическое дело? Учителя, да и врачи и ученые — не редкость, когда они же и писатели,

художники, поэты. Разве дети поэтическому состоянию не во благо: они вдохновляют, они же — «цветы жизни»? Почему же тогда он рвется из школы как из наброшенной на него сети? Или в нем уже прочно, неизгонимо поселилось чувство беды? Ощущение бездны, конца? И он не хочет брать ответственность за детскую душу, за ребенка: вдруг да нечаянно передаст ему это чувство беды? А чувство сиротства? Как у Платонова, оно у него и частное, и всемирное. Он сирота-поэт, хотя понимаем, принимаем хорошо и в семье, и в селе, и в училище, и в учительской среде. Сиротство от войны и разрухи, от безотцовщины, от бездолицы исподволь и неотступно преследует его, и он, чистая и строгая душа, боится, быть может, выплеснуть нечаянно горькие слова, чувства беды, обездоленности, сиротства хрупким деревцам — детишкам?

Воронеж — город поэтов

В 1987 году, будучи избранным председателем комиссии по литературному наследию Алексея Тимофеевича Прасолова, я обратился к писательской общественности и в Воронежский горсовет с письмом об увековечении памяти поэта; для начала — установлении мемориальной доски в городе, где он закончил земные дни.

В феврале 1996 года, скоро сказка сказывается, мемориальную доску установили — на бывшей Большой Дворянской, на бывшем губернаторском доме (проспект Революции, 22). По строгой памяти, ей бы надлежало быть многоименной: после войны в левом крыле большого двухэтажного здания располагалась редакция «Молодого коммунара», где работали Михаил Домогацких, Иван Сидельников, Борис Стукалин, Владимир Кораблинов, Василий Песков…

Немалые дружины всякого рода дарований, как истинных, так и мнимых, во все времена устремляются из весей во грады, из провинций в столицы с честолюбивыми надеждами если не «покорить Париж», то хотя бы заявить о себе на его шумных ристалищах. Прасолов — не из числа подобных Ростиньяков, готовых во имя житейского и художественного успеха поступиться многим, что дают почва, родители, детство, отчий край. И все же предложение нового, более чем просто знакомого редактора «Молодого коммунара» — перебраться в Воронеж, поработать в молодежной газете — сельский педагог принимает с радостью: хочется непосредственной работы со словом, а газета — что-то вроде фабрики слова, пусть и суетного, информационно-злободневного; но выпадает же и на газетной странице истинная поэтическая строка, художественный образ, мысль глубокая.

Прасолов приехал в Воронеж в начале января 1953 года. Месяц в месяц десять лет минуло с той поры, как город, спешно оставленный немцами из-за угрозы попасть в «котел», стал снова нашим. Развалины под снегом громоздились безмолвными, угрюмыми торосами. Более полугода Воронеж страдал на фронтовом рубеже, будто на краю гибели. Его кварталы весь июнь сорок второго бомбили воздушные армады «юнкерсов», его улицы проутюжили черные танки с белыми крестами. И город стал — как мертвый. Не выстроить ли новый Воронеж на новом месте? В конце войны обсуждалась в верхах даже и такая мысль, для исторической памяти города обидная и несправедливая.

Драма Воронежа, в трагические летние дни сорок второго

брошенного убегающими властями, драма города, который дважды и безуспешно советские дивизии пытались отвоевать лобовыми контрнаступлениями, явились чуткому сердцу. Еще не встали мемориальные ансамбли и одиночные памятники на площадях и плацдармах, позже тысячекратно растиражированные в разного рода изданиях (один из них — памятник на Задонском шоссе — даст импульс поэту на стихотворение «Вечный огонь»), но сам город, при внимательном взгляде, все еще был как памятник войны и беды.

Скоро Воронеж откроет недавнему деревенскому учителю и историческую свою даль. Не из корневых старорусских городов вроде Новгорода, Суздаля, Рязани, даже близкого Ельца, он все же таил немалое историческое своеобразие. Сторожевая, защитная крепость на порубежной черте, на краю Дикого поля, на южной окраине Московской Руси; всероссийская верфь — Петровских времен «великое корабельное строение»; как бы казачья столица, не одно десятилетие снаряжавшая донские отпуски в низовые казачьи земли. Вдобавок: город, неповторимый своим норовом, прираставший отчаянным сбродным людом — беглым. Кто бежал от государевой, царевой длани, боярской, помещичьей расправы, кто от причиненного ему зла, а кто от зла, им самим учиненным, кто был праведник, а кто — и сам черт бы ему не обрадовался. Склонность к своеволью и бунтарству выплескивалась не раз, и залетные зазывальщики с «прелестными» письмами от Болотникова, Степана Разина, даже Лжедмитрия находили здесь руки, готовые схватиться за оружие, какое ни подвернись.

Но был еще Воронеж — город муз. Город, поэтичный своим названием, месторасположением, именами. Кольцова и Никитина — народных поэтов Руси — знал с детства едва не каждый русский ребенок. У Алеши в его сиром безотцовском школьном начале хранилась и бережно им перечитывалась книжица кольцовских стихотворений. Так что у мраморного бюста в Кольцовском сквере молодой Прасолов отдал поклон поэту-прасолу как давнему и дорогому знакомому.

Достойными поэтическими именами город был отмечен и до Кольцова, и после. «И трудности пути и холод позабуду, иззябну, изобьюсь, — но к вам в Воронеж буду», — в родной город слал стихотворное послание земляку поэт-ратник, поэт-сатирик Сергей Марин, создатель «Марша Преображенского полка», который распевался во всех полках русского воинства в заграничном антинаполеоновском походе и в Отечественной войне 1812 года.

Старший друг и наставник Кольцова — Андрей Серебрянский, это его «Быстры, как волны, дни нашей жизни» одно время являлись любимой песней русской студенческой

молодежи.

Кондратий Рылеев, Дмитрий Веневитинов, Николай Станкевич… Что ни имя — сильный колос на ниве отечественной словесности!

Николай Костомаров, историк и поэт, создавший труды и баллады на украинском и русском, даже родом был одного уезда с Прасоловым!

Уроженцы Воронежа Иван Бунин и Андрей Платонов свой литературный путь также начинали с поэтических интонаций и строк. А сосланный в Воронеж Осип Мандельштам, что был «около Кольцова, как сокол, окольцован»? И приезжавшая в Воронеж, чтобы поддержать опального поэта, Анна Ахматова. По воле времени, предававшего забвению многие значимые, но вне общего идеологического русла или чем-либо иным власти неугодные имена, Прасолову остался неведом Евген Плужник, украинский поэт, дни свои завершивший на Соловках (воронежцы узнали о нем лишь в девяностые годы, когда в Воронеже в переводе на русский был издан сборник его стихотворений «Ранняя осень»). А Евген Плужник — руку протянуть — земляк Алексея Прасолова: его Кантемировка — в нескольких десятках километров от прасоловской Ивановки. Близость их — не только пространственная: у обоих — трагические ритмы и трагическая мысль, глубокое чувствование народной беды и даже беды всемирной, разлома изначальных, онтологических сфер бытия.

И был в городе поэтов в ту пору, когда молодой сельский учитель попытался обосноваться здесь, действительно поэтический уголок — именно «Молодой коммунар». Разумеется, никуда было не деться от редакционной поденщины, но она счастливо дополнялась и облагораживалась духом муз.

Возглавив областную молодежную газету, Стукалин объединил вокруг редакции творчески одаренные личности. Позже они обрели российскую известность. Владимир Кораблинов — художественный летописец воронежского края, автор книг о Кольцове и Никитине, а тогда работал за редакционным столом художником-ретушером. Василий Песков — автор книги о родине «Отечество», полсвета объехавший и о том рассказавший журналист, писатель-эколог, а тогда — фотокорр и завотделом культуры в редакции молодежной газеты.

Забредали на «коммунаровский огонек» тогда еще только начинавшие литературный путь Анатолий Жигулин, Михаил Тимошечкин, Николай Коноплин. Частыми гостями были Гавриил Троепольский и Алексей Шубин, Анатолий Абрамов и Юрий Гончаров, Ольга Кретова и Виктор Петров… Редко кто из литераторов или тянувшихся к художественному, поэтическому

слову хотя бы раз в месяц не открывал гостеприимные двери прежнего «Молодого коммунара».

Казалось бы, здесь-то и «пристанище твоей мечты», более позднего времени прасоловской строкой выражаясь. Однако вчерашний сельский педагог без юношеского пыла воспринял творческую редакционную обстановку. Принял — как должное. Каким он по первому впечатлению показался бывалому литературному люду? Стеснительный, неловко чувствующий себя в городских стенах сельский житель? Эдакий необремененный грузом познаний худотелый пастушок с серыми внимательными глазами, обреченный тосковать по выпасным буграм и незатейливой жалейке? Но скоро в этом «пастушке» обнаружилась такая историко-культурная подготовка, такая почти энциклопедическая начитанность!

Скоро в литературной среде образ нового служителя слова или же молодого собрата (кому как!) в общих чертах и границах был определен. Серьезен, душевно искренен, но душу, как распашонку, не раскрывает; эрудирован, но знаний своих в наспех затеянном споре не выплескивает; замкнут и предпочитает больше слушать или молчать, думая о своем, нежели говорить в ряду говорливых. Решительный нелюбитель шумных, пустотрескучих компаний, кто бы ни пиршествовал за едой или словом, будь там хоть приманчивейший цветник жаждущих расцвести дарований.

Все было так и не так. Куда улетучивались Алексеева замкнутость, малоразговорчивость, стесненность, когда Прасолову выпадал час или вечер, как в прежнем россошанском далеке, остаться наедине со Стукалиным. И снова и снова не беседовать, а выговариваться умом и сердцем о поэтическом, бытийном, даже — бытовом. Жаль, что таких часов не могло быть много: редактору часто приходилось отсутствовать — бывать в отъездах, командировках, постоянно где-нибудь представительствовать.

Песков тоже днями пропадал в глубинке — в поисках материала о культурной или бескультурной жизни молодежи; а еще фотокамерой добывал сюжеты — будущие снимки, на которых, словно бы тайной силой вызванные, запечатлеются «души милые людей, зверей и птиц», как позже скажет Прасолов в посвященном Пескову стихотворении. Когда же оба были в редакции и выкраивался свободный час — говорили, не успевая наговориться. Необходимыми друг другу их делали молодость, творческие токи, чувство природы и родного края; хотя во многом они были разные и по-разному у них шло постижение мира: один — больше вдаль, другой — ввысь, вглубь.

А художник-ретушер Владимир Кораблинов никуда из редакции не выезжал, с утра до вечера просиживал за большим столом, перегруженным стопами тяжелых книг, кипами фотографий, изрисованных листов, газетных, журнальных вырезок, и казалось, что небольшая комната с большим столом и есть его дом родной.

Прасолова потянуло — не могло не потянуть — к Кораблинову. На ту пору Владимир Александрович был в два раза старше Алексея. Нес он в себе очевидный душевный свет, неизменно в нем выказывались отзывчивость, чуткость на состраданье, терпимость, выпестованные в духовном сословии, — отец служительствовал священником в близворонежском селе Углянец, покуда храм после революции не закрыли. Был Кораблинов также и кладезем знаний. Позже Песков в воспоминательном очерке о начале своей журналистской стези назовет его «человеком-университетом». Таковым Кораблинов стал и для Прасолова. Он повидал многое и многих. Встречался с Маяковским, печатался в его «Новом лефе», был знаком с Воронским, Платоновым, Пильняком. Проехал полстраны. За географическими названиями сквозило пережитое. Дон — здесь, в селе Костомарове, на свадьбе своего старшего брата, вскоре погибшего при отступлении деникинских войск, видел он в один день, как налетели белые — словно чужие, и как налетели красные — словно чужие; для кого же она мать родная — война Гражданская? А мирный тридцатый год — разве не война? С крестьянами, с духовным сословием, с «бывшими»? И ему — три года тюрьмы, ссылки зауральской, сибирской… статья политическая, пятьдесят восьмая, обвинение — мифический монархический заговор. После Сибири жил, работал на Волге: в тяжелую пору приволжские город и деревня предоставили Кораблинову свой кров.

Оба приходили в редакцию в ранний утренний час, когда здесь было непривычно-тихо, да и городские ритмы и шумы еще не набрали разбег. Кораблинов принимался за ретушь или рисунки, а Прасолов — расспрашивал, и широкого размаха был его «вопросник» — от Рафаэля и Рембрандта до живописи передвижников и импрессионистов, от судеб древних придонских племен до будущего одной шестой части земного шара, от дорог Гражданской войны до названий городских улиц. Но больше всего — о писателях. Художник рассказывал о поэтах серебряного века, еще о Блоке, Бунине, Платонове. Сходились на Маяковском, расходились на Есенине: у Кораблинова отношение — сдержанное, для Прасолова же создатель «Анны Снегиной» — среди поэтов первых и любимых.

Однажды Алексей вызвался почитать стихи. До этого Кораблинов их не слышал, и он с радостным удивлением почувствовал, что они — не подобным подобные, почувствовал, как прасоловской мысли тесно в ритмических границах стиха, как она, благодарно оглядываясь на поэтическую традицию, тянется к новому если не по форме, то по сути. Немного было истинно прасоловских строк — резких, упругих, афористичных, но художник, прочитавший за свою жизнь бездну плохих, хороших и прекрасных стихов, в услышанных без труда разглядел искру Божью. Печатать их молодой поэт не торопился, он за два с половиной газете отданных года не опубликовал и десятка их. Кораблинову же читал свои стихи еще не раз, комментируя их, подчас споря с ними, а то и вовсе считая их своей неудачей; но требовательно-строгим и благожелательным оценкам своих стихов человеком, печатавшимся у Маяковского и Воронского, внутренне был рад и признателен.

Говорили о стихах. Говорили об ушедших и живущих. Говорили о временах. Город у реки, на приречных буграх и в приречных логах, и город на главной площади, на центральном проспекте жили как бы в разных веках. Полынным, пороховым, старинным веяло от названий: Стрелецкий лог, Острожный бугор, Пушкарская улица, Ямская слобода, Терновая поляна; и уже вовсе труднопроницаемым туманом древности окутывались Хазарский брод, Чертовицкое городище, Частые курганы. Древнее время — тайна. Но тайна — и день нынешний. И как тогда увидеть единое время во всей его протяженности, как если бы ровное поле? Время бесконечное, вечное, но и замкнуто обозреваемое, спрессованное — «И годы — часами, столетия — днями несутся тогда на меня…»

В городе подобрались любимые старинные уголки, где Прасолов бывал иногда с Кораблиновым, чаще — один. На лобастых приречных буграх, увиденных чутким историческим зрением создательницы «Белой стаи», — «и Куликовской битвой веют склоны могучей победительной земли», — время как бы пружинисто стягивалось, открывая и свое прошлое, и свое будущее. Чем-то давнобылым, раннедетским дышал приречный, в лозняках, многоцветный луг, и словно из того же детского далека звал Чернавский мост, хотя детский, россошанский — был совсем иным. Незадолго до отъезда из Воронежа поэт даже пошлет приветствие Чернавскому мосту в лирическом стихотворении — «Затих бессонный шум вокзала, привет тебе, Чернавский мост!»

Петровский сквер — и вовсе в полусотне метров от редакции. Красной глыбой, гранитным из-под Павловска монолитом вздымался посреди сквера монумент, сиротски ущемленный,

обворованный, нелепый без фигуры бронзового Петра Великого, увезенного оккупантами и где-то переплавленного, может быть, даже на орудийный ствол, нацеленный против потомков российского самодержца. И поэт, размышляя о превратностях судьбы, не щадящий ни сирых, ни сильных мира сего, мысленным взором все-таки видел царя — на верфи. Видел петровские струги, видел Ногайскую сторону — уходящую за горизонт левобережную степь. И степь являла не просто даль пространственную и временную, но словно бы саму вечность!

Глубже знать историю, чтоб лучше понимать ныне текущее и видеть будущее? Прасолов без особой затяжной подготовки поступает в Воронежский университет — именно на исторический факультет, вернее, на историко-филологический, тогда еще не разделенный. Вскоре так же легко и расстается с ним — уходит бесповоротно. Кораблинову свой резкий шаг объяснил тем, что многое из того, что там преподают, он уже знает, а чего не знает — можно изучить и без университетских штудий: книг в библиотеках достаточно.

Позже об этом сгоряча сделанном шаге он жалел.

Университет, театры, музеи, музыкальные ансамбли и оркестры — много муз, много искусства. Много приманчивого в городской жизни. И однако город стал тяготить его уже с первых месяцев. Что здесь? Нелюбимая работа? И она — тоже. Изо дня в день, из месяца в месяц поэта иссушали скучные, скрупулезные корректорские обязанности; всякий раз — четыре газетных полосы. Сотни строк, и каждая словно молчаливо испытывает: ошибки не замечаешь? Ошибка и во мне спряталась! А время еще было такое, что неувиденная опечатка, смена буквы, отчего, скажем, славный путь превращался в плавный, могла обойтись дороже дорогого. И за этим слововычитанием, буквопоеданием уже тяжело и невдохновенно было думать о сущем, главном, что требовал, чем жил разум.

И стихи давались все труднее, словно оборвалась некая его пуповина с настоящим и основным миром, и все строки, как верные птицы, улетели туда, где вдоволь земли и неба, где звенит коса на хлебной ниве.

Уже через три «воронежских» месяца в письме к Михаилу Шевченко он пишет не без горечи и усталости: «Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках». Никогда не бывал Воронеж Городом Желтого Дьявола, но и обычный, не преизбыточный монетный звон поэту враждебен. Разумеется, без них, на различных языках звучащих по-разному, но одинаково цепко ухвативших человека и человечество, шага не ступить, хотя оттого знаками чести и добродетели они не станут никогда.

Редакции выделили однокомнатную квартирку, и там поселились двое сотрудников. И оба — поэты: Алексей Прасолов — из начинающих и Павел Касаткин — из так называемых маститых, кто-то уже предрек ему будущность — поэтическую будущность Кольцова советской эпохи. Будущий Кольцов советской эпохи выпить был непромах, и поговаривали, что это он Прасолова научил… приучил… затянул в зеленый омут. Может быть: жили-то в одной квартире более двух лет. Справедливость заставляет все-таки вспомнить, что еще в педучилище Алексей был не прочь присоединиться к хмельной двоице-троице, а то и организовать оную, и верный Алексеев друг строго отповаживал его от погребка на россошанском базаре. Да и сельское учительствование в Шекаловке по вечерам нередко замешивалось на самогоне или «Волжском» — глухоубойном, отвратительном вине с поэтическим названием.

Кораблинов, однажды ранним утром зайдя в редакционный туалет, застанет там Прасолова — спящим. И разбросанно-растрепанным. В душе — как что-то оборвалось: у Владимира Александровича было три сына, Алексей был словно четвертый, названый. Что-то с ним будет дальше?

Кораблинов позже, с горечью наблюдая пагубную тягу и внешнюю и внутреннюю неустроенность, душевную безладность Прасолова, назовет его воронежским Франсуа Вийоном. Не подозревая, «как наше слово отзовется». Отозвалось — загуляло по разным пирушкам и страницам. Один литератор, пути которого не раз пересекались с прасоловскими, передаст мне рукописное стихотворение, написанное им после трагического февраля; и там тоже — «Мэтр Франсуа Вийон».

Все-таки все было намного глубже. И по-русски. Поэтические искания, неприятие городских суеты и блесток, детское и недавнее прошлое, неясное будущее смыкались в неразмыкаемый круг, связывались в узел, который и не развязать, и не разрубить.

Что-то Прасолов попытался объяснить в письме Стукалину, через несколько месяцев после отъезда из Воронежа:

> «Я собрал кое-что из написанного и пересмотрел. Раньше темы у меня были просты, а стихи выходили современные. Но меня тянуло к более глубокому; научиться чему-либо у нынешних поэтов почти невозможно — я обратился к классикам. Тут и заела меня форма — ямбы, ямбы… „высокий штиль“ и прочее. Это прескверное состояние — иметь мысль, образ и не выразить тем языком, который у тебя на языке… И, однако, из него, как оказалось, не так уж трудно выйти

— стоит бросить классическую форму и взять простую. Итак — больше ни строчки по-старому. Признаюсь, мне порой перед самим собой неловко: ведь я простой сельский учитель, а в стихах ряжусь во фрак XIX века. Это пришло не сейчас, после вашего письма, оно давно как упрек не давало мне покоя. Но во что переодеваться — я не знал. Как буду писать (смогу ли — такого вопроса нет), увидите сами. Странно: прежние (сельские) стихи, которые я перечитал сейчас, пусть они неглубоки, но светлы; а последние — как могильные плиты; под их формой я хоронил в каждом живое, сегодняшнее, поэтому когда я дописывал последнюю строчку и остывал, мне не хотелось их читать…

И дурак же я был, что прокорпел над могильными ямбами! Но были причины.

Город втиснул меня в скорлупу, сковал, оглушил и, наконец, озлобил; я ходил с одним желанием: „бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью“! Хорошо, что я дольше не остался там и не бросил ничего. А рука дрожала. Отсюда все — в ином свете…»

Это объяснение требует объяснений. Ямбы останутся и впредь. И Твардовский знаменитую теперь подборку прасоловских стихотворений в «Новом мире» намеревался так и назвать — «Ямбы»; всего скорей, и назвал бы, не окажись в подборке иноразмерный, хорейный стих. «Ямбы» куда лучше, чем констатирующие — «Десять стихотворений». И опять же — «Ямбы» блоковские, высокая традиция!

А «городской синдром» — все, наверное, так. И сельским — светлым — стихам здесь было не взойти и не выжить. Чувства тревоги, разлома, безладности, непрочности устоявшегося, вынесенные из детства, из обесполовиненной семьи, из войны, в городе усугубятся. Чувство сиротства — особенного, вне рода, вне близких — станет прямо-таки угнетать.

И как неожиданно, вдруг, оставит он университет, так же для внешних глаз неожиданно уйдет из «Молодого коммунара», и так же по-прасоловски резко уедет из Воронежа — к осени 1955 года.

Эти его три зимы и три лета — словно незримый, неудачный поединок с городом? И возвращение на малую россошанскую родину — как отступление? Движение вспять? Или же — вглубь? Как сильная рыба уходит на дно, ему надо было уйти от многошумной городской суеты? Деревня, почва, холмистые поля, ничем не застимые, дали ему начальные радости и горести, и оглядеться надо там, где горизонт смыкает землю и небо.

Невольная заноза сомнений все же есть. Он что — новый Шолохов, возвращающийся к сельскому крову со своими «Донскими тетрадями», напечатанными и признанными? Вовсе не так. И столицы еще не было, и книги отпечатанной не существует. Для многих губернский, областной город как трамплин на столичные рубежи и этажи (только «трамплин» — это не для Прасолова, он не принимал подобного рода метонимий, для него жизнь — всерьез, а у спорта и игры — свои площадки).

И все-таки — возьми он курс на столицу? Не только же племя лукавых политиков, суетливых стихотворцев-эстрадников, слабоголосых, а то и дурноголосых песенников-авангардистов и всякого цвета художественных оккультистов устремляется туда и там оседает. Булгаков, Платонов тоже Москвы не миновали. Правда, Москва умеет бить с носка, обоих — била. Да и у внешне более благополучного Твардовского разве не вырывались криком горькие слова о родной — чужой Москве?

Что ж, Прасолов намеревался, точнее, надеялся «зарядить пушку в Воронеже, чтоб потом выстрелить в Москве». Но, попав в столицу, удержался бы он там? Или все-таки не смог?

Позже приоткроет тяжелую дверь и столица, даже на миг — откроет. А покамест и областной Воронеж — позади. Как недописанный стих с неверно взятым начальным звуком.

И все же Воронежа он никогда уже не оставит. Будет в нем, с ним мыслью и сердцем, реальными приездами, стихами. Письмами, в которых опять-таки говорит о «воронежских» стихах; пишет, что начал стихотворение о Петре Первом, посвященное новому памятнику в Петровском сквере.

А то и вовсе часть письма отдает «воронежским» строфам.

И вел нас город, вставший на холмах,
В торжественной раскованности русской,
Два времени смешавший в именах
Мостов, базаров и бетонных спусков.
И болью песни он во мне звенит,
Перед оградой с незакрытой дверцей,
Где давит полированный гранит
Кольцовское измученное сердце.

Россошь. На круги своя?

Не всякое возвращение — поражение. И дважды не только в одни воды не войти и под одни ветры не попасть, дважды по одному кругу — неизменному — не пройдешь. Даже если бы все те же камни, деревья, лица. Но всякий раз — новое.

Возвращаясь из Воронежа в Россошь, в поезде, в стареньком вагоне, Алексей Прасолов познакомился с Ниной Лукьяновой. Двадцатилетняя выпускница Астраханского финансового техникума направлялась к месту первой работы — в недалекую от Россоши Ольховатку.

В педучилище Алексею нравилась сокурсница Ольга Хуторная. В селе Первомайское, раньше Дерезоватое, он встретил молодую учительницу Веру Опенько и к ней испытал, может быть, самое сильное и светлое поэтическое чувство за всю жизнь. В Шекаловке он переболел страстным влечением к Александре Хаустовой, тоже молодой учительнице. Все было недавним и жило в нем успокоенным воспоминанием.

А здесь — словно бы пронзило: его будущая жена, мать его будущего ребенка! Как знать, быть может, и муза его?

В Ольховатке Нина не задержалась: пригласили (перевод с повышением) в Петропавловку — один из самых дальних, южных райцентров области. Алексей часто наведывался туда. Просторно-открытое, приветливое степное село, где скоро нежданно-негаданно накроет его темное крыло беды.

В 1956 году Алексей и Нина стали мужем и женой. Нина перебралась в Россошь. Сняли квартирку неподалеку от редакции россошанской газеты, где Прасолов работал сначала корректором, затем литсотрудником.

«Любовью движутся светила…»? У молодых поначалу именно любовью все двигалось и обнималось. Родился сын, назвали Сережей: Есенин «подсказал». Прасолов, может, впервые по-настоящему испытал радость семейного, укореняюще-домашнего. И как бы отступило чувство сиротства, одиночества, необъяснимой тоски, с которыми жила его душа, сколько он себя помнил. Матери он даже сказал, что у него будет три сына, вспомнив при этом русскую поговорку, что один сын — не сын, и два сына — не сын, и только три сына — сын. Не то что тройная страховка фамилии, а продолжение и расширение родового дерева, и даже — народного.

Постепенно обнаружилось, что того «солнечного удара» — сильного, внезапного чувства, что захватило их в дороге меж Воронежем и Россошью, недостает, чтоб не запинаясь идти через

время и быт. У музы — женское имя, но поэтические токи идут не только от женщины, иногда — вовсе не от женщины и вовсе не от жены.

Для него же главное оставалось главным: даже не творческая, а духовно-творческая жизнь. Видимое со стороны — газетная поденщина. Невидимое для глаз посторонних — он шел вглубь, и дневники, письма, стихотворные строки явственно отображают это движение вглубь.

В конце 1957 года литературный Воронеж проводит семинар-совещание молодых поэтов, руководят которым преподаватель Воронежского университета Анатолий Абрамов и из столицы приглашенные Юлия Друнина, Владимир Солоухин, Николай Старшинов. Знакомясь с рукописями, Абрамов неожиданно вдруг как бы наталкивается на «очень энергичные и малословные стихи» — прасоловские. Преодолевая возражения местных литературных верхов, он добивается, чтобы поэт из Россоши стал полноправным участником семинара. И все неворонежские руководители семинара выделяют прасоловскую рукопись из числа многих. Воронежский ученый устно и письменно — в «Коммуне» — заявляет о прасоловском стихе как о явлении серьезном и не похожем на похожие.

Движение души вглубь, как и ее стремление ввысь, требует и в слове глубин морских, океанических, а выси — заоблачной, небесной.

1 июня 1958 года россошанская газета «Ленинская искра» опубликовала прасоловское стихотворение «Обреченный корабль». В тот день мне исполнилось восемнадцать лет, и прочитай его тогда, я убежден, что мог бы обезопасить себя от потока гулкой литературной мнимозначительности и не расходовал бы время и душу на шумные имена, несозидательные поветрия, пестрые формы. Но «Обреченный корабль» я прочитал много позже. Он — поразил!

Эти «тесные берега» меж Европой и Северной Америкой… Ничего себе тесные: тысячи атлантических миль меж ними, а в океанских глубинах покоятся нерукотворные человеческие кладбища — жертвы человеческой корысти и вражды да еще разгневанных океанических стихий. И в гуле океана — предупреждение не только очередному капитану с его «убогим зреньем», но и всем «прислужникам смерти», охотящимся у берегов «обворованных стран», вновь и вновь готовых мародерствовать и убивать. Как бы невытравимо позорная из желтого металла пластина на груди человечества — эти берега обворованных стран, обворованных племен и народов, обворованных душ. Исполинская природная стихия и то

оказывается сочувственней, памятливей и человечней, нежели человек.

Ну-ка, вслушайся в рокот угрюмый —
Он клокочет в груди у меня.
То невольников,
Сгинувших в трюмах,
Повторяю я все имена.

За резкими и сильными, как волны, ритмическими взмывами словно бы проглядывает, проницается обреченность не одного разбойного брига лишь, но и словно бы человечества, в отмеренном ему времени и пространстве живущего более чем неправедно. И даже — обреченность самой Вселенной.

Почему именно океанский корабль? Поэт и на море не бывал, не то что на океане. А в стихе — океанский простор, сравнимый разве с небесным, лишь небесному уступающий. Но — тесно и обреченно! В силу неправедного человеческого опыта диалог человека со Вселенной не обещает света.

В молодости, склонной к поэтическому восприятию мира и прочтению всего и вся, сказанному поэтами разных стран, иных из нас эсхатологически тревожили бальмонтовские «Мертвые корабли»: немые остовы их, навсегда затертые северными льдами, навсегда похороненные среди белых арктических торосов — молчаливая и никогда не преходящая тризна, Безмолвный Глагол. Но для многих нашлось и более живое «морское» переживание.

В молодости многих из нас брал на борт «Пьяный корабль» — хмельной гимн мятежности, пропетый французским поэтом Артюром Рембо в неполных восемнадцать лет. Корабль-одиночка в пучинах вод. Летучий голландец без руля и без ветрил, то уходящий в глубины морские, то воспаряющий над бездной, корабль, который «видел созвездия, чей небосклон для скитальцев распахнут, людей обойденных», корабль, презирающий чинный порядок Европы и, может быть, тоскующий по европейскому берегу, но все же просящий у волн заступничества — унести его подальше: «Плыть пристало ль сквозь флаги любительских мачт иль под страшными взорами тюрем плавучих?»

У Рембо — слово кораблю, хмельному от зыбкой свободы. У Прасолова — слово океану, которое он ни у кого не выпрашивает, но извергает, как свой девятый вал.

Прасолову — даже выпади такая возможность — не надо было, подобно его преуспевающим шумливым литературным сверстникам, устремляться по странам и континентам, заявляться

и отмечаться то в Париже, то в Лондоне, то в Гонконге и помечать их своими литературными посвящениями. Свойство его духа таково, что пространственно-географический мир проницался взором и мыслью даже с малого холма, даже из тюремной камеры, расширяясь, уходя в беспредельность и не требуя географических привязок. В нем жило «чувство пути», о котором Блок говорил как о явлении в поэтическом мире вовсе не случайном, а может быть, первом и главном, но, разумеется, не всякий жадно путешествующий — поэт. Путь сердца и разума может быть осуществлен и в замкнутом помещении, даже — в узилище. Стихи о Самарканде, о городе на Неве да еще строки о солнечной Равенне — последнем приюте Данте — увиденное сердцем, разумом, а не воочию.

Прасоловский Париж — его родной Черноземный край: житейский, географический круг. После отъезда из Воронежа живет он в Россоши, работает в «Ленинской искре», и это — самый продолжительный срок его журналистской службы на одном месте — почти три года, с 1 сентября 1955 по 1 июня 1958. Далее его жизнь превращается в полуцыганское кочевание: он колесит по ближним и дальним районам области, перебирается из редакции в редакцию, нигде надолго не задерживаясь.

Новая Калитва. Донская лука

С конца июля 1958 года Алексей Прасолов — сотрудник новокалитвянской районной газеты «Красное знамя», работает там до середины октября того же года. В связи с тогдашними административными то разукрупнениями, то укрупнениями Новой Калитве недолго оставалось иметь статус районного центра, а значит, и собственную газету, но Прасолов калитвянский отрезок своей газетной службы прошел прежде, чем «Красное знамя» свернулось.

Новая Калитва — донская слобода в прибрежной котловине и на меловых косогорах при впадении в Дон Черной Калитвы. Большое село в полусотне километров от Россоши — недавнее, чистое воспоминание. В началу пятидесятых, когда Прасолов учительствовал в селе Первомайском (прежде Дерезоватое), нередко бывал он в райцентре. Здесь и встретились ему тогда Алексей Багринцев и Николай Иващенко, поэтически одаренные, чуть постарше его. Трое подружились. В вечерние прилунные часы до полуночи бродили бедными послевоенными калитвянскими улицами, выходили на просторные луга, прозываемые в здешней округе «луками», видать, по величавой луке Дона, который у Новой Калитвы выворачивает с южного курса на восточный, юго-восточный.

Трое не могли не говорить о недавней войне: кровью, железом, черным огнем прошлась по их селам, по их душам. Верили, что у народа-страдальца не может не быть достойного, счастливого завтра.

От житейского поднимались к поэтическому. Огромному простору земли и неба читали пушкинского «Пророка» и «Вещего Олега», лермонтовский «Парус» и «Дубовый листок», некрасовскую «Железную дорогу». На зеленых лугах, близ окопами испоясанной Мироновой горы, строфа за строфой, глава за главой прочитана была книга про бойца — «Василий Теркин», всеми троими любимый, каждый знал его наизусть.

Очередь доходила и до своих строк. Двадцатидвухлетний Прасолов посвятит Багринцеву самое, может быть, открытое, доверчиво-исповедальное, «сельское» стихотворение — наивное, но искреннее чувствование и отображение соборного начала. Страдного, но не стадного!

Да, все мы — дети Родины великой,
Как будто мать одна нас родила.
И потому с невольною улыбкой

Я прохожу по улицам села.
И потому, вовек не зная скуки,
В людскую гущу я всегда и мчусь.
И там, где труд и слышны песен звуки,
Я нахожу истоки новых чувств.
И пусть пока незрелы наши строки —
Душа бы в чувствах зрелою была,
А время будет, подоспеют сроки —
И мы споем в селе и для села.

«В людскую гущу я всегда и мчусь» — и по звуку, и по стилистике неблагозвучная, тяжелая строка. Но здесь существенное: быть в людском круге, где истоки чувствований. Однако есть, да и пребудет тоска-печаль: не всякий человеческий круг — мирен, соборен, не всякая толпа — свадьба. Подчас и на кругу, среди своих, бываешь чужим, одиноким. И даже вдвоем чувствуешь себя подчас еще более одиноким.

Позже в прасоловском поэтическом мире образы — «Лес людской», «Человеческая роща», «Человеческий путаный лес» — явят ощущение человеческой неузнанности, сутолоки, разъединенности, невозможности выйти на спасительный путь, увидеть сквозь ветви небесный купол. Как в горелой чащобе: и много стволов, да деревьев нет.

Образ человеческого сообщества как леса таит и свет, и мрак, сквозь кроны можно яснее увидеть звезду, но можно и заблудиться под пологом густых веток, затеряться.

Насколько светлее, спасительнее — «Среди людской горячей нивы затерян колосом и я». Здесь даже слово «затерян» не угнетает. Здесь — почти по Твардовскому: «И счастлив тем, что я не чудо особой, избранной судьбы». Здесь нечто сходное с тем, что в «Освобождении Толстого», Прасоловым высоко ценимом, Бунин находит у яснополянского титана слова — стремление к потере «особенности». Сказать и так: в древние и средние века у религиозно-духовных подвижников и художников подобное стремление — избегать своего «авторства», своей особенности, исключительности — являлось естественным состоянием глубоковерующей в Божий Промысел души.

Новая Калитва, сокровенная улица: дом Веры. Алексей Прасолов встретился с Верой Опенько впервые в Дерезоватом, в Первомайское переименованном, куда она по доброй воле пришла с престижной должности в райкоме комсомола. Оставила райцентр — родную Калитву, чтобы учить детишек добру и разуму в бедной, удаленной от больших дорог школе.

Алексей сразу же проникся глубоким чувством к Вере. Школьные учителя, они часто встречались. И не только в школе. Родилась чуткая душевная близость, не смущаемая и не затемняемая «близостью иной». Он видел в ней музу свою, он надеялся увидеть в ней жену свою. Но — не сложилось, и пути их разошлись. Позже Алексей посвятит памяти Веры самое, может быть, высокое, проникновенное и трагическое стихотворение — «Я не слыхал высокой скорби труб…»

Всякий раз, приезжая в Новую Калитву, Алексей вольно или невольно думал о том, что здесь родилась Вера, хрупкая, строгая, — словно бы она не дочь красного конника-рубаки, но посланница прошлого века, дочь дворянской усадьбы, тургеневская, бунинская девушка, жертвенная сестра милосердия.

Новая Калитва всегда оставалась отрадна и желанна. И уже работая в Воронеже или поблизости от Воронежа и наведываясь в родные места, бывая у матери, он при всяком попутном случае приезжал сюда, в Новую Калитву, где хаты, дома были знакомы, а люди гостеприимны.

В одном таком доме мне, восьмикласснику, дождливой осенью 1954 года выпало впервые встретиться с Прасоловым. Дом был для той поры непривычно богат хорошими книгами и патефонными пластинками с записями русской и мировой музыкальной классики, русских и украинских народных песен. Невысокого роста, как подросток, щуплый, внешне малоприметный, Прасолов показался мне старше меня не на десять лет, а на целую вечность. Взгляд его был колюч и лучист одновременно. Колючесть куда подевалась, когда началась музыка. Дважды, трижды ставили на патефонный диск «Бранденбургский концерт», «Соль минор», Первый концерт Чайковского, еще — «Полонез» Огиньского, песни — «Стоит гора высокая», «Тонкая рябина», «Есть на Волге утес»…

Позже, весною пятьдесят седьмого, когда я заканчивал десятый класс и оставалось два месяца до выпускного, видел его иначе — в просторе синего воздуха, на берегу апрельского, половодьем расширенного и схороненного Дона. Прасолов стоял напротив мельницы, а я вышел ближе к пристани. Что-то мне помешало подойти, — то ли его очевидная, задумчивая одинокость и отрешенность, то ли две девчонки-девятиклассницы, разделительно выросшие меж нами и беспрестанно чему-то смеявшиеся, щебетавшие, — хотя я и порывался подойти, и чуть было не подошел: мы же одних корней, одной земли, одной надежды. Но пути выдались разные.

Молодость не знает пророка в своем отечестве? Чуть позже опять-таки «что-то» препятствовало мне потянуться без оговорок к

прасоловским стихам, довериться их мучительному поиску большого смысла. Нельзя было не почувствовать скрытой пружины в них, энергических мысли и чувства, жесткого ритма. Стихи, внешне бескрасочные, запоминались: было в них угловато-резкое, лаконично-строгое, непримелькавшееся и тревожащее. И все же максимализм юности: велики, истинны — поэты не нашего времени, значит — вперед… к Пушкину, Лермонтову, Есенину! Благо, что они, а то ведь скоро уши примут и эстрадную шумовень фрондерствующих столичных стихотворцев, по всякому поводу звонящих, звонящих, звонящих: а однажды, вдруг, словно в сумеречной замороченности, даже напишешь звонящим ненужные, плоские, с гимназическими интонациями письма, которых будешь стыдиться всякий раз, как вспомнишь. А твой земляк — без шума, без грима — шел по своей дороге. Одинокий, под сводом классики. По дороге, казавшейся пустынной, и не было ей мысленного конца.

Новая Калитва 1958 года — продолжение пути? Или кратковременная пристань? В местной редакции Прасолова хорошо знают. При «Красном знамени» подобрались небесталанные сотрудники из молодых — недавние мои соклассники, товарищи по школе — Рая Каменева, Наташа Пожарова, Василий Белокрылов. И сотрудники постарше были народ незаурядный. Василий Жиляев, по штатному расписанию — фотокорреспондент, по внутренним началам — художник: хорошо рисовал, пел, сочинял стихи. Временно секретарствовал в редакции Иван Иванович Ткаченко — учитель-энциклопедист, сельский, народный интеллигент, летописец. Под его пером и устным словом дышала память. Край обретал память и древнюю — под курганами и донскими водами, и недавнюю, молодую — с окопами, воронками, осколочной ржавью.

Погибшим на калитвянских, на придонских кручах, безымянно похороненным в братских могилах, Ткаченко возвращал имена. Неделями и месяцами он пропадал в архиве Министерства обороны, переписывался с родными погибших, с военачальниками и солдатами, которые выстояли и наступали отсюда, со знаменитого рубежа: здесь был северный фас Сталинградской битвы. Здесь разворачивались наши наступательные операции «Малый Сатурн» и Острогожско-Россошанская, столь памятно-погибельные для врага, что немцы оставят о тех днях и местах ворохи мемуаров, а итальянцы, четверть века спустя, снова возвратятся сюда, чтобы страшное противостояние теперь обернуть в кино; фильм «Подсолнухи» Эннио де Кончини у нас назовут — «Они шли на восток».

У Прасолова, разумеется, было что вспомнить про

фашистское нашествие в беседах с Ткаченко, недавнее пережитое поэт не мог не вспомнить, хотя по-настоящему скажет о нем и в стихах, и в повести значительно позже.

Что же до древности, Ткаченко учил нас, своих питомцев, видеть даль не только пространственную, которая с Мироновой горы открывалась во все концы света, но и даль временную. И в его рассказах от дней Бояновых как бы по волшебству Дон являл свою зримую древность: пыльные и дымные дороги больших племен, переправы войны и мира, гулкие сечи, городища, донские караваны стругов, имена, имена…

Почти ничем это древнее видение не отзовется в прасоловской строке. Хазарские городища — на соседних придонских кручах, ну и что же? Даже если с ними не до конца удалось разобраться Святославу князю, даже если не будет поставлена окончательная точка в «Древней Руси и Великой степи», которая еще и не пишется Гумилевым-историком, и тогда остается тьма иудейских, арабских хроник, русская летопись.

Волнует куда более близкое. Волнует?

Крестьянское восстание, известное под названием «колесниковщина» по имени его нечаянного предводителя, бывшего красного командира Ивана Колесникова, длилось с октября двадцатого по май двадцать первого года. Почему крестьяне донских Калитв и соседних слобод взялись за оружие? Было с чего… На смену хватко поработавшим в Старой Калитве и округе продотрядам поспешил очередной — некоего Поппельпо — с шестью пушками. И, когда конный нарочный прискакал с тревожной вестью, старокалитвянские мужики, женщины с малыми детьми на руках кинулись упрашивать недавнего красного командира оборонить их, а затем призвали его в церковь, и он — при свечах, «под колоколами» — поклялся возглавить отряд отпора.

Из Старой Калитвы восстание разольется по окрестным слободам, языки мятежного пламени охватят Новую Калитву, Криничное, Дерезоватое, Терновку, острые клинья пробьются к Богучару, близ которого уже отполыхало Вешенское восстание, к Новохоперску и даже в Тамбовскую губернию, где в неравной борьбе с превосходящими экспедиционными силами отчаянно дрались крестьянские антоновские отряды.

Колесниковский мятеж был жестоко подавлен.

Молодые о том знали понаслышке, у стариков продолжало болеть. Крестьяне, в свое время настрадавшиеся и от белых, и от красных, земляки, размежевавшиеся в неладный час войны, продразверстки, разрухи, поломанные коллективизацией, разъединенные и на общем дворе искусственно съединенные,

даже в послесталинские «разговорчивые» времена без особой охоты вспоминали свое прошлое. Говорили по-разному, не в одну масть, не в один цвет. А вот книга о колесниковском восстании — повесть «Черная Калитва», написанная местным уроженцем Василием Карповым, вышедшая в Воронеже в пору, когда мы еще учились в десятом классе Новокалитвянской школы, оказалась заданно-одноцветной, вполне уложенной в официальные рамки; таковые и печатались. Но долго еще не увидит света великая платоновская утопическая и еще более антиутопическая книга, горькая радость познакомиться с рукописью которой мне представится много позже в Москве, у вдовы писателя, в квартире старинного флигеля в старинном особняке на Тверском. И в той книге — трагическом «Чевенгуре» — несколько потрясающих страниц о колесниковском восстании. «Чевенгур» будет обнародован в конце восьмидесятых. Понятно, что в конце пятидесятых никто в нашем краю не мог знать платоновских страниц о колесниковском восстании, пронзительно сочувственных «тревоге бедных деревень».

Скорбные, обгорелые головешки братоубийственной Гражданской войны все еще дымились, заглушая запах гари от последней войны — недавней Отечественной.

В поздний час поэт идет мимо школы, а за стенами — диспут о счастье. Молодым — какого еще счастья, кроме своей молодости? Но диспут — бушует!

…И тени расстрелянных
Видятся мне,
Прибитые пулями
К этой стене…

Здесь нет ни белых, ни красных. Ни своих, ни чужих. Нет той разделенности мира и авторской декларативности, которые демонстрирует тогда же написанный «Комиссар». Здесь — Жертвы. Гражданская война, откуда и как ее не изображай, всегда — великое народное несчастье, шабаш демонических сил, ненавидящих и белые, и красные знамена, подменяющих дороги к храму дорогами в ад.

Революция — Зло и Добро за одним столом — ощущалась Прасоловым отнюдь не книжно, а как пережитое его народом, его селом, а значит — и им. Он задается вопросом, зачем революция облагораживается в фильмах, вроде «Сотрудник ЧК»? Менее всего, видимо, помогает истинному осмыслению революции так называемое «ревискусство»: во всяком случае, Прасолов, размышляя о родине и революции, убежден в этом. «Всерьез —

это несовместимо».

Впредь у него почти не найти строк о Гражданской войне, размышлений о двоякой сущности революции и Гражданской войны, о пламенных сагопевцах последних, хватких энтузиастах «ревискусства». Разве что небольшие, но задуматься заставляющие записи в дневнике.

Ноябрьская запись 1965 года — после Москвы:

> «Ваганьково кладбище… Рассказ старухи — служительницы кладбища. Дела живых оскверняют могилы мертвых: очередная легенда о Е. Евтушенко, о его речи, представленной на бумаге, и речи, произнесенной на юбилее Есенина. Какая низость человечья! („Его — Евт. — лишили за эту речь права печататься“.) А в „Лит. газете“ надрывно-верноподданический, сделанный пошло и тупо „Красный патруль“, шагающий „по хризантемам, по пуговицам от брюк бывших“ и т. д.
>
> Расплата нужна. Расплата будет».

Духовные наследники Троцких и Бухариных, всегда р-р-революционные и злые, трубадуры на свадьбах и на похоронах, сгодились быть разве что авторами очередных саг и манифестов в угоду новым временам и новым властям. И в их нравственной глухоте к трагедийно-народному — их же расплата. Прасолов поэтическим чутьем правды предвидел такой исход.

Январская запись 1968 года — о «колесниковцах» и их сыновьях, после поездки в слободу, откуда началось восстание:

> «Вчера. Клуб в стенах бывшей церкви. Собрание — как вывороченное нутро народной жизни. Эта часть народа — очень колоритна: отцы и деды росли над диковатым разбойным простором степей и Дона, берега которого таят первобытные становища, кости мамонтов и кости всех, кто приходил посягнуть на волю. Предки собравшихся всегда волей-неволей были в русле истории и, наверное, больше чувствовали это инстинктом. Поэтому вольный природный простор, открывающийся с меловых круч, был для них единственным и не всегда осознанным мерилом воли. Вот почему именно здесь поднялось неширокое, но злое и очень опасное для молодой власти восстание — поздний мятеж против той новой силы, которая многим из повстанцев была вначале близкой в чем-то сущем, а потом испугала их своей реальностью существования, озлобила жестокой

требовательностью нового хозяина…

Потомки этих людей собрались „решать“ хозяйственные вопросы. Решали очень мало, больше задавали вопросы начальству.

Ночью на обратном пути из Старой Калитвы. Освещенная фарами узкая, стиснутая заносами дорога… Люди не вписались в эту ночь…»

«Клуб в стенах бывшей церкви» — знакомое: и в прасоловской Морозовке церковная кладка в нелучший час пошла на клубное устроение. Старокалитвянская церковь, надломленная в тридцатом, еще и после войны держалась внешними формами, хотя и обезображенными. В мои школьные годы на пути из Нижнего Карабута в Новую Калитву остов надломленного храма, возвышающийся над Старой Калитвой, был издалека виден. Как обрубленный перст… Позже в старокалитвянском клубе мы, девятиклассники, отдавали субботние вечера отечественным и зарубежным фильмам, в которых женщины являлись не только с непокрытыми головами, чего по древней христианской традиции не должно быть под церковными сводами, но и с неприкрытыми лебедиными выями и волнующими персями, старинным слогом изъясняясь. Самое грустное, что под сводами храма-клуба мы узнавали о дальних странах, соборах, именах, но о самой Старокалитвянской Успенской церкви ничего не знали дальше ее подмененной двери. Мало того что здесь крестили, венчали и отпевали многих и не один век. Когда-то в Успенской церкви священнослужительствовал Евгений Снесарев, внук знаменитого Болховитинова, историка и духовного пастыря. Сын же старокалитвянского священника Андрей Снесарев, в раннем детстве не раз бывавший под сводами церкви, стал выдающимся военным деятелем, ученым-геополитиком, известным и за пределами Отечества.

Люди превратили церковь в клуб. Но не всяк теперь туда спешил. Отрезал себе туда дорогу и дед Андрей Отрешко, могучий и добродушный старик, когда-то бывший не последним в отряде Колесникова. В молодости я был дружен с его племянницей и влюблен в его внучку, с последней мы часто забредали в его курень: он сторожил колхозный сад за околицей Старой Калитвы, у дороги к ее младшей сестре-слободе. Был он радушен, мирен, незлобив и, угощая нас яблоками и посмеиваясь, всерьез говорил, что самый большой грех — разлад. Где бы он ни был — в душе, в семье, в стране. Разлад между двумя влюбленными или между двумя державами. Разлад, идущий от суеты, гордыни, неправды. И злости, злобы, зла. Что он, один из

главных бывших повстанцев, вспомнил при этом?

Через десяток лет не стало ни сада, ни церкви. Сад был выкорчеван, остатки храма доломаны. Ушли из жизни последние участники и свидетели «колесниковщины» — крестьянской драмы.

И что же мы, внуки их? Почему не рассказали о драме? Побоялись не найти точного и справедливого памятного слова? Неся в себе и эту боль, ограничились встречами с участниками скорбных событий, замыслами рассказать об этом, долгими раздумьями и короткими строками.

Но вернемся из одной слободы в другую. С придонских бугров две Калитвы, Старая и Новая, глядятся друг на друга как родные сестры, а семиверстные луга-«луки» меж ними словно застольная скатерть зеленая. Вернемся из года 1968 с его прасоловской записью о повстанцах и потомках повстанцев в год 1958, где Прасолов в редакции «Красного знамени» заканчивает газетный очерк.

Был день, который, казалось бы, вмещал всю жизнь. В тот сентябрьский день Прасолов видел свадьбу и похороны, слышал крик новорожденного; на Белой горе, где соседями война и мир, где неподалеку от куста шиповника с птичьими гнездами вдруг вымывало ливнями солдатские останки, он подобрал в окопе и сунул зачем-то в карман тяжелый, игольчатоострый осколок, с которого дожди давно уже смыли кровь; в поле и на ферме встретился с людьми, о каждом из которых — хоть повесть пиши.

Возвратясь с Василием Жиляевым в редакцию, он за каких-нибудь три часа написал, конечно, не повесть, но крепкий очерк о прошедшем дне. Он сам порадовался: в очерке — живое! Маленький отрезок времени на малом пространстве. Но в судьбах, в этот день учуянных, время и пространство уходят неохватно далеко.

Загодя взята бутылка перцовки. И когда редакция опустела, они решили проводить изошедший день со всем его радостным и печальным. В окна светила огромная луна, было хорошо видно, хотя свет лежал квадратами мертвенный, тяжелый и недобрый.

Стали открывать бутылку, она выскользнула из рук и разбилась. Минутное огорчение и у Прасолова, и у Жиляева сменилось оживлением людей, которым не без потерь удалось перепрыгнуть овраг. Увидели в этом знак и полушутя условились пореже «перепрыгивать овраги», и да будет их хмель-охота повержена, как уроненная бутылка.

Проговорили до полуночи, и словно третий был с ними — Есенин: возвращались к его судьбе, к его жестокой петле, к пережившей его на тридцать лет матери. Читали, читали

есенинские стихи, больше всего — «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа…» Тяжел, недобр лунный свет, но хороша ночь, роднящая двоих единых годами, единой землей, единой тягой к прекрасному.

На другой день, в вечерний час, по дороге от Дона, мимо огромного деревянного зернохранилища, на стенах которого все еще четко бросалось в глаза черной краской коряво прописанное: «Смерть немецким оккупантам!», «Мины!», «Мин нет», Жиляев завернул в редакцию. Было темно в окнах, но на дворе лунный свет все освещал, как днем, только отрешенно-мертвенно, тяжело. И напротив от редакции, на рубчатой ограде райисполкома, он увидел словно бы магнитом притянутого к ограде человека с раскинутыми руками.

До конца недели Прасолова на работе не было. Появился в понедельник, измятый, с землисто-серым лицом. И тут Рая Каменева взялась «прорабатывать» его. Нет, не с того, что в редакции была секретарем комсомольской группы. Год назад окончившая школу, искренняя, отзывчивая, порывисто восторженная и свято верящая в справедливость, любящая отечественное поэтическое слово, она чувствовала незаурядность, необычность прасоловского дара, и ей жалко было поэта, его не во благо потраченного времени, попусту измученного сердца. «Проработку» Прасолов выслушал молча, не проронив ни слова. Но во взгляде — резком, недоуменном — вскользь словно бы вопрос: «И ты?» Она почувствовала, что слово ее — не вовремя, не к месту и напрасное.

Так вышло, что Рая Каменева была Алексею Прасолову самым близким человеком в редакции. Душевным товарищем. Однажды, еще месяца за два до наивной и бессильной «проработки», она неожиданно увидела поэта в вечернем парке, у танцплощадки. Едва ли кто из танцующих знал, на каких камнях устроена ограда их вечерней радости. Еще в тридцатом здесь непорушенно вздымался Троицкий храм. И душу, и средства, и строительные способности вложил в него местный священник. Внук того священника — человек в духовном мире известный: уроженец Новой Калитвы — Леонтий (Лебединский), митрополит Варшавский, позже митрополит Московский.

Прасолов остро чувствовал неестественное, выморочное состояние жалкого уголка, где угнездилось гульбище. Тогда еще не было ни пестрящих цветомузыкой дискотек, ни оглушающих и уныло похожих друг на друга рок-групп, ни «тяжелого металла», но нехитрый рисунок развлечений в кружении тел и тогда был тот же, что теперь. И Прасолов сказал Каменевой, что его удивляет и огорчает убогость и однообразие такого рода

развлечений. Тем не менее они часто встречались именно в этом парке. Все ее подружки танцевали, а она и поэт на близкой от танцплощадки скамейке, под чахлыми кленами и акациями, под слабосильными фонарями, под куполом звездного неба говорили о поэзии, читали друг другу любимые строки — пушкинские, блоковские, есенинские. Иногда Алексей читал и свои стихи, еще не напечатанные. Так — весь август.

А началась осень — зачастили дожди, слякоть расползлась по слободе и, казалось, заползала в души. Откуда было недавней десятикласснице знать, что в осеннюю слякоть у поэта особенно обострялись чувства тоски, одиночества, горькой памяти? А водка была — как влага забвения.

На другой день после того, как Прасолов уехал, Каменевой передали два листа низкосортной желтой бумаги, размашисто исписанных прасоловской рукой. Посвящение ей. Ответ ушедшего.

И пробил час…
В последний раз
Волна донская
Всплеснется вмиг
У ног моих,
Песок лаская.
О древний Дон!
Твоих седин
Не опорочу,
Тебя я песнею будил
Нетрезвой ночью.
Легла знобящей синевой
На воду осень.
Я никогда б,
Товарищ мой,
Тебя не бросил.
Но есть еще одна река —
Она сильнее.
Ей имя — Жизнь,
Во все века
Я дружен с нею…

На семидесятилетие Прасолова моя бывшая соклассница в Новой Калитве передала мне в подарок эти два совсем изжелтевших листа с прасоловским посвящением.

Так я их старался уберечь, что и не знаю, как потерял. Кажется, навсегда. То ли они погребены в какой-нибудь книжной

или бумажной кипе, то ли, вероятнее всего, нечаянно выброшены, «пристав» к ненужным бумагам. Малое утешение — ксерокс прасоловских строк.

Десятки и десятки подобных листов, посланных поэтом из тюрем и случайных мест в журнальные и газетные редакции, там и затерялись. Письма, адресованные знакомым, все ли сохранились они? А сколько, и часто стихотворных, посвящений, подписей на сборниках или где-то хранятся да неизвестны широкому читателю, или вовсе утрачены вместе со сборниками — утрачены при разных обстоятельствах.

Прасолов нередко, написав что-либо, — если не стихотворение, — мало заботился о дальнейшей судьбе написанного. Существенно было выговориться, занести на лист бумаги. А дальше? Знал — рукописи не горят? Или странная небрежность к уже проговоренному? Тут образец великий — Тютчев! Не то что лист заполненный, но и полрукописи по нечаянности, небрежности мог в камин швырнуть, по рассеянности наконец. Когда же обнаруживалось непоправимое, ни отчаяния, ни даже огорчения не испытывал.

В русской литературе бывали примеры сознательной расправы с детьми-рукописями, как-то поступил Гоголь со вторым томом «Мертвых душ», и у него были и предшественники, и последователи. Более многочисленны, если не бесчисленны, примеры нечаянных потерь. На море и на суше. При крушениях, переездах, пересылках; при обысках, при разбойных налетах и кражах; при всякого рода несчастных случаях в библиотеках и архивохранилищах, в тюрьмах и частных домах.

А сколько рукописей — чьих? каких? — поглотили монголо-татарское нашествие, им в полымя кинутые храмы и монастыри, наполеоновское нашествие, Московский пожар 1812 года, Гражданская и Великая Отечественная войны.

Земляки Прасолова, писатели Черноземного края, серединной России, тоже часто, вольно или невольно, лишались написанного. Новиков-Прибой дважды, при угрозе собственной жизни, утрачивал «цусимские» записи. Бунин одесские страницы «Окаянных дней» надежно запрятал в земле и, в спешке и навсегда покидая родину, в земле их вынужден был оставить истлевать. Станкевич сжег рукопись своей ранней драмы «Василий Шуйский». Шидловский, философ, друг молодости Достоевского, предал огню свое исследование по истории русской церкви. С Державиным и вовсе курьез приключился. Торопясь в Петербург, и во время чумы задержанный на карантинной заставе из-за походного сундучка, досмотр которого требовал дополнительного часа, вспыльчивый поэт тут же сжег сундучок,

заполненный рукописями его стихов и переводов. А Прасолов? За два с небольшим года до ухода из жизни, он, правда, не без сожаления пишет:

> «Я не скопидом — увы! — Бог отнял у меня даже чувство сохранения моего — стихов, писем, дневников, самой своей жизни».

До сбережения ли строк (пусть и самого прекрасного «рассказа» про жизнь), когда отсутствует чувство — хранить самое жизнь?

Петропавловка воронежская

Но как разворачивалась, куда уносила она, эта река-жизнь, с которой молодой поэт, как мнилось ему, во все века был дружен? Никуда не деться от обыденщины. Прасолову, разумеется, чужды были затворнические, непроницаемые стены «чистого искусства», он не пожелал бы за ними скрыться, даже если бы и мог, но и заедать свой век газетной поденщиной он не хотел и время от времени пытался разорвать этот круг. Поденщина была сильнее, цепь не разрывалась.

Прасолов возвращается в Россошь, за прежний редакционный стол, но через полгода вынужден оставить редакцию. Единственный раз в жизни он попытает себя за пределами области, устроясь на журналистский прокорм в редакции районной газеты в Ровеньках Белгородской области, к слову сказать, прежде — Воронежской губернии. Продержался он здесь до конца года — без дня два месяца. «Охота к перемене мест» становилась явно вынужденной.

Петропавловка — район далекий и от Воронежа, и от Россоши. Глубинка из глубинок — задонская песчаная земля, южный, приграничный с Ростовской областью район. Но выбирать не приходилось. К тому же сюда, когда здесь работала жена, Прасолов не раз приезжал, так что — хоть и дальний угол, но вроде бы и не чужой.

До конца шестидесятого года он — заведующий отделом сельского хозяйства петропавловской районной газеты «Под знаменем Ленина».

В тот год в райцентре состоялось событие: был открыт памятник командиру «Молодой гвардии» Ивану Туркеничу — уроженцу недалекого от Петропавловки села Новый Лиман. О «Молодой гвардии» Прасолов, разумеется, знал и по фадеевскому роману, и по герасимовскому фильму; волнуемый юными судьбами, сброшенными в могильную шахтную пропасть, в педучилище даже стихи о молодогвардейцах писал. Но теперь для него дело молодогвардейцев не то что утратило обаяние патриотического порыва, молодой дерзости и жертвенности, но душа уже вобрала в себя почти неисчислимые иные имена, эпохи, пространства. В ней уже не было того тихого, мирного, сопереживательного лада, каким она держалась и возвышалась, пусть и не часто, в деревне, в педучилище. «Душа — в огне», что за огонь ее снедает?

Стихов, написанных в тот год, что пальцев на одной руке. Стихи резки, тревожны, неуютно в них. Вечная драма мира —

отец и сын — и в «Голосе весны», и в неоконченной поэме «Комиссар», казалось бы, просветляется надеждой, но в строфах — навеянное, и надежда не убеждает.

Домоустроение, чувствуется, не ладится. Ни в душе. Ни в семье. Да, может быть, и в стране, еще не совсем отошедшей от войны и уже нашедшей массу новых тревог, неурядиц, бед — хрущевская перекройка границ внутри Союза, очередная дурь-атака на церковь, черные бури обещающая потревоженная целина, скоробудущий расстрелянный Новочеркасск… Зреют, зреют новые разломы в душе и в мире. А тут бы — из старых выбраться.

Память — испытание, она не для благополучных.
Черной вьюгой по пепелищам
Мчались годы всемирной беды,
Слышишь, ветер и шарит, и ищет
На земле всех погибших следы.

Но и живущих ветер не золотыми снами овевает, а насквозь пронизывает, словно требовательно спрашивает за пагубные страсти.

Ветер непогод властно проносится по прасоловским страницам — от поэтической строки до письма и дневниковой записи. От начала до конца. «У обрыва бьется ветер», 1949; «Сад багряный ветрами продут», 1952; «Только ветер бьется в окно», 1955; «Ветер выел следы твои на обожженном песке», 1959; «Но слышишь — ветер времени тревогою звенит», 1962; «Тебя кружил беспутный ветер», 1963; «Как душит ветер в темноте!», 1964; «Ветер двигал красный…», 1965; «Опять гудящий ветер…», 1966; «Но ветер над тобой трагедией повеял», 1967; «Ветер — предвесенний темный порыв», 1968; «Ночью — ветер…», 1969.

«Слушаю ветер» — это из осеннего, позднеосеннего письма 1970 года — словно бы трагически усеченное блоковское: «И песни петь. И слушать в мире ветер!»

Ветер — конь, не знающий узды. Он на подворье не живет, крова своего не ведает. «Мой спутник — ветер, злой и резкий», — вскользь, но будто чеканные шипы роняет поэт в стихотворении, написанном в 1960 году в Петропавловке — тихом райцентре; в том же стихе предпринимается нечто вроде атаки на дом, на семейный очаг, а дом — наиболее сокровенный образ русской словесности!

Обжитый мир четырехстенный
Сдавил по-волчьи — не вздохнуть,
Там есть любовь.

Но нет стремлений,
Там, как несчастье, слово — путь!

От добра добра не ищут, и, если есть любовь, каких еще надобно исканий, в какой устремляться путь? Дорога из Россоши в Петропавловку — это не Путь, это обычная дорога, то ровная, то извилистая, со своими подъемами и спусками, не хуже, не лучше других сообщительных дорог. А Путь — он может быть дан и не выходящему из дома.

Дважды письменно обращался я в районные редакции, в которых — где дольше, где меньше — работал Алексей Прасолов, в газетных очерках, статьях, зарисовках столь же неповторимый, как и в письмах, и даже — стихах. Просил откликнуться:

> «Наверное, еще живы газетчики, которые вместе с ним работали за редакционными тесными столами, живы деревенские люди, в памяти которых он сохранился — пусть малым эпизодом, несколькими штрихами, мыслью, оценкой тогдашней жизни; живы районные жители, те, что знали его, встречаясь в нечиновых редакционных комнатках и на улицах бывших и теперешних райцентров. Знали, конечно, разного — будничного и праздничного, озабоченно-спешащего и готового к неспешному собеседованию, угрюмого и открытого улыбке, трезвого и нетрезвого. И речь не о том, чтобы, вспоминая, о чем-то недоговорить, о чем-то умолчать, в ином — приглушить краски, в другом прорисовать да поярче. Такт, нравственное чутье и пишущих, и читающих всегда являют возможность отделить зерна от плевел, случайное, незначительное, стороннее — от значительного.
>
> Давайте же воедино соберем прасоловское, напечатанное когда-то в местных изданиях, соберем воспоминания еще живущих, не дадим листикам памяти разлететься на суетных переменчивых ветрах!»

Первое обращение — словно затерялось на первой же почтовой версте: ни строки ответной. Второе — через десять лет, двухтысячного года — вызвало отклики. Наиболее пространное воспоминание — из Петропавловки.

Бывший ответственный секретарь районной газеты во всю ширину литературной страницы вспоминает, каким образом появился, чем запечатлел себя и как вынужден был расставаться с

райцентром на берегу Толучеевки провинившийся журналист и поэт. Под заголовком «Стихи его читать приятно» (невольная ассоциация со словами одной из сатирических героинь Маяковского) рисуется образ не во всех отношениях приятный. Сотрудник от неумеренно выпитого яблочного вина вдруг засыпал за редакционным столом. Бывало, в крепком запьянении он взбирался на стол и читал свои стихи — самому себе, ибо, чувствовалось, ему никакого дела не было до тех, кто слушал и не слушал его, зашедши в кабинет. А дальше в Петропавловке непонятно как стали пропадать вещи. Мелочь. Но однажды в редакции исчезло демисезонное пальто редактора. Виновника вычислили. Уже на другой день милиционеры тихо, что называется под руки, повели поэта из редакции в милицию, что поглядывала на редакцию с противоположной стороны улицы.

Мне пришлось обратиться к бывшему редактору петропавловской районной газеты Ивану Добринскому. Существенное в его письменном рассказе — прасоловское рассуждение о Боге, прежде неизвестное: «Все, что связано с верой в Бога, мыслится мне как сумма неоспоримых истин, не требующих доказательств».

И о Прасолове-журналисте бывший редактор районки помнит решительно хорошее: профессиональней, строже, интересней стали полосы, особенно подготовленные отделом, которым заведовал Прасолов; из малограмотного письма он делал душевную зарисовку, из привычной жалобы — проблемно-постановочную статью.

Что же до загадочных пропаж… Человек брал, а взятое где-нибудь оставлял, куда-нибудь засовывал, чтобы тут же о нем забыть. Зачем ему было брать женскую сумочку, в которой ровно ничего не было, кроме партбилета, который тогда был все? Или старое, из лозы плетеное лукошко с десятком старых яиц? Наконец, это злосчастное пальто, ошибочно накинутое после редакционной пирушки и оставленное в кустах терновника.

Как все переплеталось, свивалось в один узел — трезвость редкого по проницательности ума и та горькая чаша, которая погубила многих.

Каждому — свое. Все люди глядят на солнце, да разное видят. Прасолову словно бы от рождения дано было видеть человека, мир, вселенную в двуединстве света и тьмы. «Мне уж если луч, так оттененный тьмой, если улыбка, так после какой-то суровой борьбы, после боли», — это из письма. Но и многие стихи — об этом. Прасолов ранимо чувствовал непогоды души, бури человеческого сердца. Но также — и бури небесных сфер. Протуберанцы на солнце, взрывы далеких звезд он чувствовал,

как если бы разглядывал небеса в некий незримый телескоп. Временами, быть может, надвигалось резко: солнце погаснет не через миллионы лет, как предсказывает наука, но скоро… Завтра! Сейчас!

Прасоловское, скоро столь очевидное чувство космизма — особого рода, в чем-то совсем одинокое. В отечественном философском и поэтическом сознании, скажем, и у любимого Прасоловым Есенина космос часто тепл, человечен, близок к земле. Ибо он находится под сенью божественной воли и любви, он согрет явленностью Сына Божьего и Человеческого, который — и на небе, и на земле. Как у Тютчева, есенинский Христос идет по бедной долготерпеливой русской земле, всю ее благословляя. У Есенина — бесконечный Бог, всеблагий, человека не покидающий. У Прасолова космос — лишь бесконечный космос, равнодушный или даже враждебно холодный, но и могущий дать прозренье.

Остается предположить, не более того, что все могло обернуться иначе, без суда, будь лад и мир в душе и на сердце поэта, по-иному сложись в семье, в стране, в мире, наконец. Но сложилось так, как сложилось. Суд не заставил себя ждать. Наверное, он бы не был наотмашь бьющим, не стань тогдашний судья на сугубо формальную, буквенную сторону закона, по-человечески вникни он в обстоятельства, где проступок провоцируется неким болезненным вожатым.

По случаю дела местный судебный архив ничего не сохранил. Весною двухтысячного года судья Петропавловского районного суда Александр Нестругин (редкое сочетание: юрист и поэт) на мой запрос ответил: «По поводу Прасолова ничего не осталось, вот только статистическая карточка…»

И что же в статистической карточке? «Дело на завсельхозотделом редакции петропавловской газеты „Под знаменем Ленина“ Прасолова А. Т. поступило из прокуратуры 2 января 1961, рассмотрено 17 января 1961. Сущность приговора — три года лишения свободы».

Приговор как «перевернутая явь». По-степному открытая, свободная Петропавловка обернулась «Петропавловкой» — тюремной, зарешеченной, разве что не на Неве, а на Дону.

Поэт отбывает наказание близ Воронежа, в живописнейшем Березовском районе, скоро вошедшем в Рамонский. Красивейший уголок древнейшей реки, пыльца доисторической тайги, простор, дивная лука Дона. Но адрес жесток: «ящик»! Сначала «ящик» на донском берегу: Воронежская область, Березовский район, Кривоборье, п/я ОЖ 118/2, затем «ящик» — в заповедном лесу: Воронежская область, Березовский район, п. Бор, п/я 118/4 «Б».

По-крестьянски работящий и скромный, вне выпивок отзывчивый и не заносчивый, Прасолов располагает к себе одновременно и начальство, и, что важнее, невольных знакомцев, сотоварищей, заключенных.

Тюрьма — не санаторий. Но возможность читать не обрезалась. Нечаянно была прочитана и статья Инны Ростовцевой «Поэзия соловьиного края». Прасолов вел мысленные напряженные диалоги с классиками, постоянно учась у них. Но здесь — о живущих: молодая выпускница Воронежского университета размышляла о сильном и слабом в стихах местного поэтического сообщества. Статья стала негаданно счастливым приглашением к серьезной переписке.

В марте 1962 года Прасолов пишет первое письмо Ростовцевой (всего их будет около двухсот) и первыми же строками дает понять, что он не на дежурном отклике и говорить намерен всерьез. «…Суть в таланте, а не в обязательном запахе полыни, чабреца и прочего чертополоха, коими богаты наши веси повсеместно»; далее в письме — свои стихи (особенность и почти постоянное слагаемое прасоловского эпистолярного пласта); в конце письма — словно бы невольно вырвавшийся вздох: «Эх, скорее бы в жизнь! В мае должен выйти».

К письмам Прасолова надо возвращаться и возвращаться. В них глубокие размышления о жизни и литературе, о классиках и современниках, о подлинном и мнимом, о любви, болезни, смерти, о текущем и вечном.

Письма друг к другу двоих — в них прожитые в плотном времени и пространстве сроки и строки двоих; сораздумье, сочувствование, некий роман, словно бы завещающий роман как жанр, исповедально-философский, с комментарием, который будет или не будет создан — решить соучастнице большой переписки.

В данном же, первом письме к Ростовцевой биографически существенно упоминание про скорое освобождение и возвращение в жизнь.

24 мая 1962 года тюремные ворота перед ним, действительно, открываются, он выходит в свободный и никогда и нигде не свободный мир. Он не со вчера понимает, что без «нравственной узды» личности и общества («широк человек, сузить бы…» — Достоевский) свобода — лишь химера, лишь искусственными огнями освещенная ночь вседозволенности. Без «этического контроля», как настаивают отечественные, прежде всего, религиозные мыслители, не может быть истинной, высокой свободы. И какое преодоление себя, какое самосовершенствование и личности, и общества требуется! Иначе

— не свобода, а троюродная тень ее, миф, подмена свободы полусвободой, своеволием ума и уничижением, попранием совести как пережитка. И единственная свобода — сменять цепи: одни сбросить, чтоб заменить другими.

По выходе из тюрьмы Прасолов обращается к Стукалину и Пескову помочь деньгами, и оба, и не раз, помогают ему суммами, достаточными, чтоб житейски стать на ноги.

Обком, непосредственно газетный сектор, направляет его в редакцию Аннинской межрайонной газеты «Ленинец». Не худшая по составу журналистов редакция, а место — так и вовсе приманчивое: старинное село на чистой реке Битюг, старинный приречный парк Ростопчиных, белый непорушенный храм.

Некогда благословенный и вдохновенный уголок поэтессы Евдокии Ростопчиной, строки которой, здесь навеянные, словно бы окликали. «И есть родство, родство святое меж всем тоскующим и мной…» И далее — «Не бури шум, но ветр полночный — вот, вот поэзия моя!» Ветер полночный, ветер тревог — это и его, Прасолова, спутник, поэтический дух, удел или, у былых столетий заимствуя слово, жребий.

А строки — «И вьюги русские завоют над нами песнью гробовой!» — ритмически, чем-то неуловимым навевают прасоловское: «Здесь в русском дождике осеннем»; во всяком случае, контаминация из двух стихотворений, отстоящих друг от друга временным промежутком едва не в столетие, слагается как бы естественно и по первому взгляду не выдает себя: «И вьюги русские завоют над нами песнью гробовой!.. Она внезапно вырастает над всею жизнью мировой».

А ростопчинское — «власть мирозданья», «русское бытие» — это и прасоловское, это прошлый век, верно и точно сделавший шаг в век нынешний. Да и строки поэтессы — «И много дум, и много чувств прекрасных не имут слов, глагола не найдут» — современны прасоловскому и всякому иному времени. И как пророчество ее — «Поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой!» Название-то прямое, адресное — «Нашим будущим поэтам». То есть прямо обращенное и к Прасолову.

Ему могло быть известно ироническое суждение Гете насчет пишущих женщин, мол, пусть они пишут сколько угодно и как угодно, одного только он не понимает: когда мужчины пишут, как женщины; или — как если бы они женщины.

Судьбою и поэтическим наследием двух великих муз двадцатого века — Ахматовой и Цветаевой (Ахматова была у Прасолова из поэтов любимых) — гетевское олимпийское суждение как бы сводится на уровень курьеза.

Но и поэтическое слово Ростопчиной — из истинных.

Тут однако и его собственному слову не дано было расцвесть: в Аннинской межрайонной газете Прасолов не успел проработать и месяца, как его снова утянула «наклонность», дававшая о себе знать после наспех собранных застолий, после встреч с «горькой».

В конце весны освобожденному досрочно, ему неотбытые полтора года остались как условные. И главное было в эти полтора года — не споткнуться. Но счет уже шел не на годы. Летом — новый суд, 7 августа 1962 года — новый приговор: три года, да еще неотбытый в первый раз срок, в условный переведенный, — тоже присовокуплен.

Что за темная, жестокая сила заявила о себе в тот год в судьбе поэта, почему его снова одолела прежняя пагуба? Короткою оказалась передышка меж заградами из колючей проволоки, тюремные стены, едва разойдясь, тут же сомкнулись, заглотнув его вновь!

> «...Все, что произошло со мной, — писал он Ростовцевой в декабре 1962 года из тюрьмы (Семилуки, п/я ОЖ 118/1 „В"), — не закономерность. Это скорей похоже на дорожную катастрофу, которая происходит неожиданно и многое обрывает на ходу...»

(Нелишне вспомнить, что к подобному сравнению своего случившегося как дорожной катастрофы обращался или прибегал за четверть века до того Михаил Булгаков, правда, по случаю куда менее сокрушительному, но тоже не из радостных.)

Через пять дней — общего свойства объяснение:

> «Я далек от оправданий и скидок в свой адрес. И знаю, что беда пришла из одиночества и той невеселой беспечности к своей судьбе. Мне страшно, как в морозную воду, было окунаться в прежнее — район, газетная опустошающая суета и пр...»

В письме, вдогонку предыдущим, декабрьским, — описание и объяснение происшедшего:

> «Мое преступление в общих чертах: хозяину, во двор которого я попал по нелепой случайности, я выдавил плечом глазок в окне веранды — это единственный ущерб, нанесенный ему. И, если бы у них кто-то был в то время, дело могло бы обойтись иначе: а вышло так, что соседи, услышав звон стекла, приняли меня за черт знает

кого. Я пошел за ними в отделение в надежде, что там разберутся. Обследовали место происшествия, учли мою первую судимость, хвост и стали квалифицировать мое преступление как попытку проникнуть в дом(!)…»

Аннинский районный суд, помимо статистической карты, выслал также и резолютативную часть «прасоловского дела», сущность которого, как и в первый раз, — кража. Разумеется, «кража» слишком приговорное слово для оценки случившегося. Резолютативная часть бесстрастно констатирует — при личном обыске обнаружены платежное страховое извещение на имя Веретина и детская губная гармошка.

Страховое извещение на имя Веретина в кармане Прасолова — нелепица, абсурдный штрих, а вот губная гармошка…

Губная гармошка — это из военного детства, и настанет час, когда в «Жестоких глаголах» он воздаст ей — исторгательнице нехитрых звуков в равнодушно-холодных губах оккупанта. Впрочем, гармошка уже прошла в его строке, его товарищи по перу любили цитировать: «Гармоники пиликали, Европа браво топала. Глаза России никелем до слез слепили „Оппели“». Но он же не пришелец из оккупационного сорок второго? Да и губная гармошка не скрипка, на которой он в юности умел играть, не флейта, какою можно было бы увлечь зрячих или слепых, хоть людей, хоть зверей, подобно флейтисту из средневековой притчи-сказки! Да и разве хотел он этого? Может, надо ему было спуститься к берегу реки и через немудреные звуки вспомнить детство? Да, видимо, позабыл, что священное право частной собственности при любых режимах блюдется смертными, во все свои века пытающимися даже у Бога отнять землю и небо и определить в свою, частную собственность.

Проступок ничтожен, а сострадание, стыд, боль, раскаяние обширны и глубоки. Для совестливого Прасолова случившееся с ним действительно, что дорожная катастрофа.

Прежде, в первую судимость, он писал одному хорошему знакомому:

> «Я уехал из Россоши… Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство — изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала.
>
> И вот я девять месяцев работаю зав. клубом. Никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И, знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что не верю порой: неужели это со мной было?.. Сейчас много читаю и думаю. Я

готовлюсь к новой жизни — и с трезвой головой…»

Чуть позже Ростовцевой писал: «…Не думал о такой беде, никак до сих пор не укладывается в голове. Выйду отсюда и скажу искреннее спасибо тем, кто помог мне сбросить налетную житейскую дрянь, приведшую меня в суровое чистилище».

И вот — снова чистилище? Или — катастрофа? Наказание было столь несоразмерным проступку, а сами случайность и абсурдность его были столь очевидны и невероятны, что для Прасолова это было как потрясение, как черный сполох и удар судьбы.

Не утешаться же ему толстовскими словами о том, что можно и в тюрьме быть свободней, чем в Москве? Или причудливыми настроениями великого писателя быть посаженным в тюрьму? У Толстого — всемирная слава, да и… не меньший эпатаж, быть может?

Возможно, длинная чреда художников (Томаззо Кампанелла, Франсуа Вийон, Мигель Сервантес, Андре Шенье, Кондратий Рылеев, Тарас Шевченко, Оскар Уайльд, Поль Верлен, Федор Достоевский, Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Даниил Андреев, Александр Солженицын…), испытавших тюрьмы за разное, в разные века, — все-таки некая моральная поддержка? Мог же он, наверное, знать, что преподобный Ефрем Сирин, к покаянной молитве которого восходят прекрасные пушкинские «Отцы пустынники и жены непорочны…», в молодости отсидел в темнице по ложному обвинению в краже овец? Или что Франциск Скорина, великий славянский просветитель, был брошен в тюрьму по навету варшавских банкиров и получил освобождение лишь по указу польского короля, при его внимательном ознакомлении с делом? Или что Бранислав Нушич подвергся тюремному заключению за стихотворение «Два раба», против режима ненавистного в народе сербского короля Милана Обреновича. В каждом времени — свои сидельцы. Гийом Аполлинер был заключен в тюрьму по ложному обвинению в похищении из Лувра знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконды». Иво Андрич, будущий нобелевский лауреат, в годы Первой мировой войны был арестован за участие в сербском национально-освободительном движении. Лаза Костич был заключен в Пештскую тюрьму за выступления в защищу православных Австро-Венгрии. И совсем близкий по времени пример: шведский режиссер Ингмар Бергман был посажен по доносу о неуплате долгов, обвинение оказалось ложным.

В глубине души предельно страдая, Прасолов случившееся с ним оценивает и — сам судя. «Заносит руку чей-то суд, когда же

— грянет — Твой?».

«До чего ж иных пугает слово З/К. Я и здесь во многом свободнее, чем они там!»

Или — «Мне-то и срок судья завысил, что я кое-что высказал на суде в лоб: „Сколько раз вы ни кинете меня в неволю, я буду свободнее вас“».

Чувство уязвленного одинокого? Горькая бравада?

В письме другу, писателю, земляку Василию Белокрылову много спустя он цитирует стихи, записанные в Анне, на стене камеры.

Захлопни, соглядатай, дверь!
Пускай в дверях стеклянный глаз.
Какое счастье! Я теперь
Наедине с собой хоть раз.
Когда пробьет мой вольный час,
Здесь духом тленья в свете дня
Пахнет — от прежнего меня,
А может, от всегдашних — вас.

На грани зрелых лет

Предыдущие два года заняты были, видимо, осмыслением случившегося, осмыслением себя в мире, и страны, и мира, как таковых, взыскующих новых надежд, побед и потерь. Недавний Карибский кризис дохнул всепланетной катастрофой, мир стоял у края бездны, словно средневековый корабль в Карибском треугольнике.

В эти два года стихов у Прасолова немного. В шестьдесят первом их вовсе нет. В следующем есть сильные: «Рубиновый перстень», «Царевна», «Развесистыми струями фонтана…» Но есть и слабые, неудачные, вроде: «Век нам крылатый выпал…» Иные строки — плакатная мысль и неточность слова: «Явись на землю — наверное, взъярился б кроткий Христос: Ему здесь дарили тернии, Гагарину — пламя роз»; а дальше: «Век наш! В его кипенье мы сами ракетам сродни: они теряют ступени, а мы — отработанные дни». Разумеется, подобные официально оптимистические строфы не могли художественно свидетельствовать о драме освоения космоса — онтологической, да и сугубо человеческой. Мало еще кто догадывался, чем грозит земле и человечеству гордынный вызов горним сферам, взлетная площадка новой Вавилонский башни: техногенные, губительные проколы озоновой оболочки, гибель космонавтов и астронавтов — лишь начало…

Но вот — шестьдесят третий год. Поэт — в возрасте Иисуса Христа. Весь год — в тюрьме. Внешне он и библиотекарь, и заведующий клубом, и разнорабочий. Тюремная роба и прогулки в замкнутом, прицельно контролируемом пространстве делают его похожим на других, которых здесь сотни. Но он — один. В нем восходит истинный поэт. И никогда уже, разве что в больницах, он не напишет в один год стольких стихов. Пятьдесят, даже больше. Пятьдесят зрелых стихов!

В этих стихах он заявит главные, испытательные ценности трагически расколотого, двуединого мира — любовь, ее свет и мрак, целомудрие и темное, плотское дно, ее высокие вершины и темные стремнины, ее идеалы, маски, подобия; единство боли и радости; война и память о войне; сыновье чувство к матери; высота и святыня человеческого труда, единство и драматическое противоборство природы и человека, сопутствующего прогресса; свобода подлинная и мнимая; музыка и гармония мира; память времен и племен; Бог и люди.

Стихи он шлет на волю — в районные редакции. Но прежде всего — в Воронеж. На квартире ученого, уже сказавшего о

Прасолове свое слово веры в литературной среде и печати, Абрамов и Ростовцева прасоловские стихи отбирают для «Нового мира». Ростовцева передает их Твардовскому.

Александр Трифонович Твардовский знакомится со стихами. И — случай небывалый для журнала — в августовском номере за 1964 год публикует десять (!) стихотворений неизвестного России провинциального поэта: по месту проживания даже не областного, а районного.

Подборка существенно разнилась с тою, какую предлагал или желал бы видеть автор: в журнале появились лишь три стиха из первоначально намеченных им — «Весна от колеи шершавой…», «Среди цементной пыли душной…», «Тревожит вновь на перепутье…» Правда, и Прасолов, надеясь стихами «дать основное направление — Время, Бытие, Человек, День, Ночь», не включил в первоначальный список даже такие свои шедевры, как «Пролог», «Когда созреет срок беды всесветной…», «Тревога военного лета…», «Коснись ладонью грани горной…», «Ты в поисках особенных мгновений…»

В «Новом мире» стихотворения пошли в последовательности, какую определил им главный редактор: «Весна от колеи шершавой…», «Привычно клал он заводскую…», «Черней и ниже пояс ночи…», «Среди цементной пыли душной…», «Платье — струями косыми…», «Взметнули трубы медные…», «Сюда не сходит ветер горный…», «Далекий день. Нам по шестнадцать лет…», «Зима крепит свою державу…», «Тревожит вновь на перепутье…»

Новомировская подборка принесла провинциальному поэту всероссийскую известность.

Август же стал для Прасолова дважды счастливым месяцем. Познакомясь со стихами, за автора их стал хлопотать Твардовский, депутат, что называется, со стажем, и в августе Прасолов был освобожден досрочно.

(К месту вспомнить, что депутатский запрос Твардовского вскоре помог в освобождении и реабилитации трижды подвергавшейся аресту и заключению поэтессы Анны Барковой. Много старше Прасолова, но в чем-то ему близкой. В ее стихах есть трагизм слома, и одиночества, и роковой безбрежности — «Первый крик мой и тело сдавила тоска…», «…И в одиночку мы спускаемся в катакомбы», «Костер в ночи безбрежной, где больше нет дорог…» Едва не наизусть знавшая Достоевского, она перестрадала, перечувствовала многое трагическое, что пережила страна в первой половине двадцатого века, и она же еще в начале пятидесятых, в начале хрущевской «оттепели», смогла услышать предчувствие страною новых бед: «Чую, кто-то рукой железною

снова вздернет меня над бездною».)

А 3 сентября 1964 года в Москве, в Малом Путинковском переулке, в редакции «Нового мира», Прасолов встретится с Твардовским. В редакторском кабинете, где прежде бывали в немалом числе знаменитости, где в ту пору не раз бывал Солженицын (уместно сказать, что прасоловское отношение к тогдашнему «Новому миру» сродни солженицынскому; иное дело непосредственная оценка солженицынского «Одного дня». В одном из писем Прасолов посчитал необходимым сказать, что ему «не понравилось, что автор — человек интеллектуального склада — спрятался за Ивана Денисовича». Замечание, пожалуй, скорее поверхностное, нежели справедливое. Как раз-то «интеллектуалы», «интеллигенты» и пеняли Солженицыну, дескать, почему главный образ его лагерной повести — простой человек из народа, а не интеллигент, об этом Солженицын вспоминает в книге «Двести лет вместе»).

Прасолов рассказал о встрече в «Строгой мере» — лаконичных, ни слова лишнего, воспоминаниях, положенных на лист 26 января 1972 года, за неделю до ухода из жизни. Эти воспоминания — как прощание. Как благодарное слово судьбе, жизни, русской классике. Пушкин, Бунин, Твардовский названы как пароль в будущее.

«Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский», — так заканчиваются воспоминания, и имя автора «Василия Теркина», быть может, последнее большое имя, написанное прасоловской рукой. Как из классиков Пушкин, так из современников Твардовский, — оба осознаются Прасоловым не только высшими носителями поэтического, но и даже большего, нежели поэтическое слово, и что есть сама высота и глубина жизни.

Короткая телеграмма от Твардовского — срочно слать стихи в октябрьский номер 1967 года, или короткое письмо от 16 января 1970 года, по части публикации прасоловских стихотворений — отказное и мягко зовущее уйти от «лирической академичности», — все это для Прасолова всерьез, отзывается в нем, фиксируется в его дневниках и письмах.

Однако и на любимого поэта он, по собственному признанию, не глядел суеверно. И тем более на возглавляемый им журнал, который не был сугубо детищем Твардовского и на который воздействовали самые разнородные силы. Вульгарный социологизм в журнальном разделе критики, готовом всех злых напустить против почвенничества, народных, православных, национальных начал, Прасолову естественно был чужд. В разговоре об этих началах для него статья-критика

молодогвардейского сердечней и глубже, чем — критика новомировского.

Взгляд на Россию с тысячелетней историей для Прасолова дороже, нежели узкий, прицельный взгляд на Россию, словно бы только с революционного семнадцатого и начинающей свой путь; на страну, в двадцатом столетии отданной коммунизму, ищущей себя в нем, принимающей и преодолевающей.

Здесь Прасолов близок к Солженицыну, который чуть позже в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» обозначил суть вопроса прямо-таки по пунктам — их 11; Солженицын в статьях «Молодой гвардии» того времени услышал и увидел «мычанье немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее», защиту духовного слова от базарного, защиту деревни, защиту церкви: «Какова б „М. Гвардия“ ни была, да хоть косвенно защитила религию. А либеральный искренно-атеистический „Н. мир“ с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на церковь… Что за уродливая привязанность к „малой родине“?.. И почему бы это образный русский язык хранился именно в деревне?..

Раз по тактике надо Европу защищать — так чем плохо „М. Гвардии“ магнитофонное завывание в городском дворе? Или что в воронежской слободе „сатанеет джаз“, а Кольцова не читают? Чем поп-музыка хуже русских песен?..»

Солженицын, обязанный «Новому миру» обнародованием «Одного дня Ивана Денисовича», «Матренина двора», тем не менее смотрит на журнал открытыми глазами и зерна отделяет от плевел. Еще раньше Прасолов, не менее, чем Солженицын, обязанный «Новому миру», посчитает возможным или необходимым сказать: «Переоценивать „Новый мир“ не будем, — даже в том лучшем, чем я ему обязан! Да не покажется это неблагодарностью. На доброе я памятлив».

В прасоловской дневниковой записи за февраль 1968 года — рязанский адрес Солженицына.

Писательский билет

Свободный внутри (свободный — с неизменяемым чувством ответственности) он теперь — и на внешней свободе. Но как распорядиться обустройством внешней жизни, как войти в быт, хотя бы в мало-мальское благополучное существование? Прасолов никогда этого не умел. Да и не хотел. Не раз он об этом и говорил.

> «Восторженность жизни и золотая ее полнота — это никогда не приходило ко мне ни в жизни, ни в стихах. И вряд ли придет. Когда я чувствую это, благополучие становится тягостней несчастья, и я в нем не живу, а тащусь до минуты взрыва… Я всю жизнь в черном теле, и часто такое клубится в душе, что стискиваешь зубы. Неужели все так благополучно?»
>
> *(из письма, ноябрь, 1962).*
>
> «…Сколько еще носить мне в мире бесприютное сердце, сколько смотреть в глаза, в души, касаясь их, понимая и прощаясь с ними?»
>
> *(из дневника, запись декабрьская, 1965).*
>
> «В голове — одно ясное сознание неблагополучия жизни. Я принимаю каждый день как возмездие за покинутое мной»
>
> *(из дневника, запись сентябрьская, 1967).*
>
> «Мучаюсь, когда несчастлив, мучаюсь, когда счастлив…»
>
> *(из дневника, запись июньская, 1970).*

И все в том же роде, и все в том же духе…

Семья есть, но давно он и она — на разных берегах. Работа? Одна — вдохновляет, другая — изнуряет, третья… Но не работать же ему всю жизнь бутафором Воронежского музыкального театра? Туда его устроили по выходе из тюрьмы; нет ничего несуразней, несовместней этой связки: Прасолов и — какая бы то ни было бутафорическая сфера! (Впрочем, еще один настоящий и рано, в двадцать семь лет, ушедший из жизни поэт — Константин Козлов

одно время — в год рождения Прасолова — работал в том же Воронежском, только драматическом театре, и даже не осветителем-бутафором, а ночным сторожем.)

Он перебирается в родную Россошь, определяется в Дом культуры, завхозом. Человек, равнодушный ко всякому хозяйству, личному и иному, долго ли пробудет в хозяйственной должности? Бутафором, рабочим сцены он продержался чуть дольше месяца, завхозом — меньше полугода.

Из Россоши уезжает в Репьевку. Внешний шаг и путь души — движение часто разное: как на земной дороге и как в небесной выси. Душа живет днем, душа живет и мучается ночью. Самовыражается в поэтической строке. Ежегодно поэт публикует два-три десятка стихотворений. Едва не каждое третье — антологическое, рожденное для долгой жизни.

«Новый мир» открыл дорогу к широкому российскому знакомству со стихами Прасолова. Поэта печатают не только воронежские областные и районные газеты, не только «Подъем», но и «Сибирские огни», «Дон», столичные «Юность», «Наш современник», «Литературная газета».

Помогают друзья и литераторы, видящие, как особняком, в стороне от тогдашних главных дорог, но о главном сурово заявляет прасоловское слово. Друг юности Алексей Багринцев, будучи редактором Петропавловской районной газеты, печатал стихи Прасолова, даже когда тот отбывал срок внутри тюремного круга. Опубликоваться в «Литературной газете» помог Анатолий Жигулин, в «Нашем современнике» — Михаил Шевченко. Первый сборник «День и ночь» готовят к изданию Владимир Гусев и Людмила Бахарева, решительно ускоряет его выход Александра Жигульская. Молодогвардейский сборник «Лирика» помогают издать Александр Твардовский и Борис Стукалин. Оба сборника — воронежский и московский — выходят в 1966 году.

В 1966 году Прасолова принимают в Союз писателей СССР. Рекомендации — Владимира Кораблинова, Владимира Гордейчева, Федора Волохова — лаконичны, всем понятно, какого масштаба «соискатель» перед ними. Кораблинов, давно зная Прасолова, еще в его начальных поэтических шагах, пишет: «Он, кажется, ни разу в жизни не задался целью удивить читателя». Замечание существенное. Литераторы разных направлений состязались в умении удивить, и удивляли — внешним: то претенциозным желанием выпить солнце, то внесердечным конструированием треугольных груш, то бестактными пошло-позирующими образчиками вроде: «Я, как Христос, на крыльях самолетов, летящих в эту ночь бомбить детей Христа».

Отношение к новому своему статусу профессионального

писателя — противоречивое.

В письме к Василию Белокрылову от 21 ноября 1970 года — уже как бы отстраненно:

> «Вспомнил свое состояние после приема. Я почувствовал себя (при всем сознании того, что сбылось в жизни) каким-то прирученным, приговоренным к писанию, сосчитанным и взятым на учет („листок учета кадров“!). Какая-то хорошая несущая душу стихия, брат, словно умерла во мне…»

Но, разумеется, и рад был и пусть не считал дни, но ждал, когда же вручат писательский билет. Жалуется в письме Михаилу Шевченко, от 3 марта 1967 года: «Воронежское отделение — это какая-то глухота и немота… До сих пор даже билет не вручили, хотя все давно оформлено».

А в Россошь, в двухэтажный из сырца-кирпича недалекий от станции дом, на квартиру Лилии Глазко (улица Свердлова, 11/9) прямо-таки примчался, чтобы дружественную семью известить: «У меня радость!» и на стол для смотрин положить писательский билет.

Собственно, что он значил, этот красный билет, применительно к Прасолову — антиподу трудно созидаемого уклада, налаженного быта, благополучной жизни?

Появилась возможность льготных путевок, поездок в приморские и пристоличные писательские дома отдыха? С этим не сложилось: поэт вообще не умел отдыхать в чинном, курортном смысле слова «отдыхать». За рубеж ему и престижный билет — не пропуск. Издаваться? Но и без писательского статуса его печатали, а после новомировского цикла стихи и вовсе в столе не залеживались. Разве что вдвое выше прежнего (не восемь, а шестнадцать рублей) стали оплачивать Прасолову, теперь уже как «узаконенному» члену писательского цеха, каждое выступление перед сельскими и городскими читателями, слушателями. Так он никогда не был ревностный охотник до такого рода выступлений в литераторских «агитбригадах».

Правда, писательский билет открывал путь на высшие литературные курсы. И друзья советовали их пройти, и сам поэт не считал их за лишние — там знания, встречи, имена.

Еще до приема в Союз, в письме Владимиру Гусеву от 13 ноября 1965 года Прасолов говорит об этом:

> «Членство дает право попасть на литер. курсы. А мне так надо учиться — и вот столько преград на пути к учебе, к своему прямому делу. Ведь в Воронеже я тоже

чужак в кругу расчисленных светил».

Поступив на высшие литературные курсы — некую завершающую академию писательского учительства, Прасолов по-настоящему мог бы открыть для себя Москву и себя — в Москве.

Москва бьет с носка

Это был его второй приезд в Москву. Первый — встреча с Твардовским 3 сентября 1964 года, и, чтоб она осталась незамутненной, неотодвинутой иными столичными впечатлениями, — только она. Второй приезд — через год — в ноябре 1965 года.

Дневниковая запись — 20.X.65. «Третьего вечером — в Москву. Мать должна купить билет. Я звонил ей дважды. Договорились…» (Грустно читать такого рода дневниковые записи-признания: то у матери приходится просить деньги на билет — а иначе бы и не поехал?; то учится печатать на машинке в тридцать шесть лет, — это когда его похватистые столичные сверстники, молодцы литературные, скоро и на компьютерах забарабанят, да что ж, не его — этот деловитый, деляческий темп; или же в сорок лет засобирается наконец попасть в Святогорье, в Михайловское, да опять же — безденежье.)

Дневниковая запись — **11.XI.65:**

> «За плечами — Москва. Москва — перед глазами.
>
> Впервые — Кремль. Архангельский собор. Могила Дмитрия Донского и еще 55-ти князей и царей. Роспись, икона Рублева.
>
> Ваганьково кладбище. Могила С. Есенина, могила матери его…
>
> МХАТ. „Зима тревоги нашей…“»

Владимиру Гусеву пишет сразу же после приезда. **Письмо от 13 ноября 1965 года**:

> «Чем была Москва? Два часа — Кремль. В Архангельском соборе отблеск Рублева, могила Дмитрия Донского, Грозного… Вопрос гиду, почему рядом с Кремлем и мавзолеем буйный торг: ГУМ и прочее. Не понравилось…
>
> Был в „Молодой гвардии“… Народ, чувствую, недобрый. Очень вежливый…»

Вопросы на Красной площади Прасолов, разумеется, мог бы задавать и дальше. Не о мавзолее — тут он был в общепринятой схеме, не о Горках Ленинских — культовые уголки он посетил и даже написал о них — «И вот настал он, час мой вещий…», «Войди — и сразу на пороге…», «Таит телефон Ильичевы

слова…»; в ряду столицей навеянных стихотворений они, кроме, может быть, первого, не самые лучшие: по-прасоловски добротные, но не по-прасоловски описательные. Разумеется, искренние.

Что же до недоброй столичной публики, так Прасолов здесь не первый, не последний, кому, верно, вспоминались старинные про нее поговорки: Москва бьет с мыска; Москва слезам не верит; кому Москва, а кому мачеха; тяжела рука московская; им Москва, а нам тоска.

Даже Пушкин, рожденный в Белокаменной, любивший ее «как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно», даже он назвал ее однажды противной; а времена-то были помягче, подобрей, не воспаленные мировой революционностью.

В двадцатом же веке Москва и вовсе явила крутой норов и не жаловала многих. Булгаков, Платонов — имена очевидные в своей отверженности: пасынки! Но разве они лишь? Шукшин писал, что в столице человеку совестливому, без привычки расталкивать других, скоро можно «прокиснуть». Нечаянно встреченный Твардовским в столице безвестно-затерянный фронтовой лейтенант, из-под страшного Ржева на сутки вырвавшийся, чтобы похоронить жену, ударясь о столичную ледяную бестактность, на весь московский трамвай отчаянно бросает: «Никогда, никогда я не приеду в эту Москву…» «Эта Москва», конечно, не Москва Пушкина.

Но встреча с Твардовским выпала Прасолову именно в Москве.

И теперь, по приезде на Высшие литературные курсы, у Прасолова открывалась надежда пожить в Москве, может быть, даже благосклонной, счастливящей. Это был его третий приезд в столицу. Третий раз во всякой русской сказке — счастливый…

Более чем краткому пребыванию поэта на Высших литературных курсах 1967 года предшествовал эпизод — как тропинка, вдруг ныряющая в глубокий овраг.

Приехав в Москву, Прасолов тем же днем зашел в правление Союза писателей России, где литконсультантом работал тогда давний друг по Россоши. В книге рассказов о писателях «Дань уважения» Михаила Шевченко, изданной в Воронеже в 1989 году, есть страница и об этой встрече, радостно начавшейся, да злосчастно закончившейся. Дома у друга, в ожидании семейного ужина, Алексей успел ополовинить взятую по дороге бутылку горькой и стал отчужденно жесток.

Тяжко пьющий человек, хмельной, никогда не согласится, что он тяжко пьющий человек, и любое замечание или уговаривание оставить стакан недопитым воспринимает как оскорбительное,

как покушение на свою личную жизнь, ее права и свободы.

Но права и свободы непьющих? Писатель Кораблинов, в конце шестидесятых долго и покорно терпевший неожиданные как снег на голову приходы на дом весьма хмельного Прасолова, вынужден был однажды тихим своим голосом сказать: «Таким, Алеша, сюда больше не приходи!», — делая твердое ударение на слове «таким».

Люди, ранимо воспринимающие в жизни социальные и иные язвы, не понимают алкогольных влечений ни в себе, ни в других. Им пьющего Прасолова трудно, горько принять. Горько и порицать. Горько видеть. Куда девались тогда его незамутненный, чистый взгляд, спокойная сила и открытость? А вы полюбите черненького, поскольку беленького всяк полюбит? Пословица пословицей, но получается замкнутый круг. Пьет Прасолов, пьет самородок-современник, пьют талантливые люди и тем теряют себя и совершают нечаянную трудноискупимую вину перед своим талантом, перед семьей-народом, перед землей родины. «Непротрезвленная беседа» — из прасоловской строфы. И из жизни. Сколько времени у человека и народа отнимают подобные беседы, какие умственные, сердечные энергии, душевные силы уходят в тупик. В пустоту! Сколько самой сущности человека отнимает у человека зеленый змий, серая мышь, черный человек!

Зачисленный на Высшие литературные курсы и на первой же неделе попавший в компанию себе подобных не дарованиями, но пагубными утягами, Прасолов скоро был отчислен: очередной противоалкогольный указ исполнялся не то что неукоснительно, но поэту столичное литературное учение обрезал.

Россошь — родина и мачеха

«Отлучение» от Высших литературных курсов — как изгнание из Москвы. Больше он уже туда никогда не поедет. А в Воронеже на литературные заработки трудно было прожить. Помыкавшись, Прасолов возвращается в Россошь: может, уже и постылая, но все-таки родина. Как говаривал древнегреческий мудрец, живущие состоят из… дома и пчелы. Пчела возвращается в улей. В данном случае — покинуть Россошь и вернуться в Россошь? Не возвращаться же в Петропавловку или Анну? Райцентры с милыми названиями, женски звучащими, райцентры, где на него обвалилась беда, были не забыты им, но изжиты: от них веяло ему в спину холодом, непониманием, равнодушием.

Правда, после нескольких лет работы «на рудниках и стройках», как иносказательно, в оглядке на цензуру, называли тюремное заключение писавшие о поэте, Прасолов, возвратясь в Россошь, на следующий год сменил Россошь на Репьевку. Там, в райцентре на берегу реки Потудань, в редакции газеты «Ленинское слово» (везло ему на редакции с названиями, в которых, как флаг, развевался эпитет — «ленинский»!), он продержался с июня 1965 по март 1966.

Не худшие для него месяцы. Он много писал, много печатался.

Репьевка — репейная сторонка, с семнадцатого века заселенная украинскими казаками слобода, первоначальное название которой: Потудань. Река Потудань — неширокий створ зеленых берегов, тихий ход воды, исторический загадочный исток, побудивший поэта сделать в дневнике запись: «Где-то здесь шла грань (река По — ту — дань).

Вообще, исторические события оставили здесь заметный след на земле, на людях, войны — на их судьбах (Потудань — Потудон — Дон). Интересно. Где правда?»

Разрывая название реки на смысловые слоги, Прасолов, скорее всего, допускал старинное предание о том, что река во времена монголо-татарского захвата и позже была естественной пограничной, разделительной чертой, и по ту — степную — сторону здешний населенец платил дань. Допускал, но — «где правда?»

Здесь нельзя было не вспомнить и о том, что название реки перетекло в название прекрасного платоновского рассказа, а позже — и целой книги: «Река Потудань», (Москва, «Советский писатель», 1937).

Покончив с редакционными делами, Прасолов вечерами

выходил к реке. Стоял, смотрел и думал. Через Потудань строили деревянный, сосновый мост. Строили основательно, и работа подвигалась медленно. Все же настал час, когда поэт по дощатому настилу перешел на другой берег.

Этот мост дал жизнь одноименному стихотворению. Его опубликовал Твардовский. Одно-единственное стихотворение после знаменитой десятичной подборки. Больше в «Новом мире» при своей жизни поэт не увидит ни строки своей. Хотя Твардовский даже телеграфировал, чтобы Прасолов срочно слал стихи в октябрьский номер 1967 года. Поэт высылал. Но что-то не сложилось. И позже, в январском письме 1970 года, редактор «Нового мира» извещал поэта, что отобрал стихи — «Как ветки листьями облепит…», «И все как будто кончено — прощай…». Но к тому времени редакторский стол Твардовского зашатался, словно в ненастье висячий над пропастью мостик.

Осенними, а то и зимними вечерами любил он забредать в сквер, недужный, из кленовых и акациевых малоростков. Подолгу стоял у безлюдной, безголосой танцплощадки. Вдруг взбирался на помост и — никому, или нечаянному товарищу, или всему миру под звездами — читал стихи. Зачем он приходил сюда? Зачем взбирался на жалкий эстрадно-танцевальный пятачок, по лету истоптанный множеством молодых ног? Да еще читал стихи в никуда и никому? Или надеялся аурой своего стиха рассеять иные, суетные, пагубные «дуновенья»? Увидав здесь однажды летом, в воскресный поздний час, водоворот молодых тел и лиц в раковине эстрады-танцплощадки, он напишет стихи с грустными, не по случаю экклезиастическим обращением к иному возрасту, иной судьбе: «Девочка, танцующего счастья знающему сердцу нет».

Знающему не то что счастья, но даже и покоя нет. И часа вне тревоги нет нигде — ни дома, ни в дороге, ни на земле, ни в воздухе. Тревога — в нем, над ним, под ним.

«Когда смотришь на землю сверху, становится душно: вся избита, размолота и затянута дымом, пылью, туманом. И какая тонкая оболочка жизненных газов окружает землю! Жутко. Ведь вся она будет в конце концов отравлена нами. И, летя, не уйдешь от земли…»

Как уйти и куда уйти? Рукотворно пересотворяется пространство, и где предел? Землю покидают извечные ориентиры. И возникают новые моря, а прежние высыхают, а задымленные дороги, как отравленные креповые ленты, опоясывают землю и небо. Ядерные взрывы циклопически терзают чрево земли. Ядерные взрывы на полигонах Невады и Семипалатинска, словно концесветные, эсхатологические грибы

(миллионы незримых гробов) медленно взошли до туч, сами стали страшными тучами, отравили небеса. И на континенте, и в океане, на его атоллах, естество уступает мутационному натиску. И это — ноосфера? О такой ли мечтал Вернадский?

Позже в Москве, на проспекте Вернадского, обретет квартирный угол его товарищ, во многом единомышленник, кому он и адресует из районной Репьевки безрадостные строки о земле, какую человек отравляет и от какой человеку не уйти. (Письмо А. Т. Прасолова, 1965, октябрь — В. И. Гусеву.)

Владимир Гусев приезжал к Алексею Прасолову на Потудань, два дня провели в Репьевке и Истобном, днем им даже выпало тушить пожар — загорелась изба в Истобном, а две ночи почти напролет бродили ночными улицами. Долго стояли у братской могилы. Было задушевнейшее настроение, говорили о Лермонтове и снова о Лермонтове. О высоком, сильном и добром говорили, и было чувство будущего, и эта ночь, быть может, в чем-то напоминала южную ялтинскую ночь встречи Бунина и Рахманинова; хотя, разумеется, полевая даль не заменяла моря, как и море не могло заменить полевой дали; да и судьбы тех и других слишком разошлись и как судьбы, и во времени и пространстве.

Из Репьевки до Воронежа — дорога недальняя: часа два автобусом. Но выпадала возможность, Прасолов летал самолетом. Не самолет, а самолетик. Испытанный вдалеке от столичных аэропортов и трасс четырехкрылый «По-2», хлопотун-«кукурузник». Но «воздушная тема» взлетающего, летящего за облаками, раздвигающего звезды небесного корабля берет начало в Репьевке. И разве не взлетал здесь поэт вместе с той старой женщиной, что стала «героиней» его стиха «Вознесенье железного духа…» — сильного стихотворения, в котором высокую веру не съежить атеистическим холодком?

Правда, старуха, одобренью или суду которой подвержены земные дела, не осеняет себя крестом, а страхует. Неожиданное и, может, трудноуместное это сочетание «страховала крестом». Должное передать ощущение страха? Но чего бояться старой женщине, пережившей войну? Прожившей жизнь? И прожившей — в вере?

Взлететь да скоро и приземлиться: воздушный лет от Репьевки до Воронежа тих, невысок, малоопасен. Но малая Репьевка укоренена в земной шар, а в нем, на нем, над ним — все — опасность, все — испытание. Две-три воздушные ямы, не такие обрывные, как в горах, а легкие, малозаметные, наталкивают на мысль о Сент-Экзюпери, французском писателе и летчике, погибшем во Второй мировой войне где-то над Альпами или,

скорее всего, над Средиземным морем. Летчик-писатель, не раз бывавший на волосок от гибели, терпевший катастрофы, вновь и вновь взлетал. Что двигало им? Не он ли, подобно глубоко тоскующему экзистенциалисту, полагал: «Возможно, победы нет вообще: не могут раз навсегда прибыть все самолеты…» В какой тьмине морской успокоился он? Поэт жестко, непоправимо видел альпийские отроги, хребты, колоссальные монбланы камня и снега, видел средиземноморскую пучину-гибель.

В «Чевенгуре» Андрея Платонова человек по доброй воле отдает себя глубине озера в надежде увидеть, «что там есть… пожить в смерти и вернуться». Люди нередко уходят из жизни, когда теряют вовсе не географический, житейский курс, а духовный. Когда теряют, а бывает, и вовсе не обретают самое главное. Книга Сент-Экзюпери говорит, что «самого главного глазами не увидишь». Разве что сердцем. Глубина человеческой истории, тайна ее жизни подобна глубине и тайной жизни реки, озера, моря.

И в сердце поэта имена близкого Платонова и далекого Сент-Экзюпери соединялись как имена братские, житейски никогда не сведенные, но соединенные запредельно, заоблачно, глубинно. Река Потудань текла и стремилась через моря в Средиземное море.

Нет, не худшие его были дни на берегу реки Потудань. Но заверчивало и на ровном. И поэт сам себе не мог ответить ясно: именно он все сделал для того, чтобы быть из редакции уволенным? Но от поэзии его никто бы уволить не смог, разве лишь Тот, кто дал ему дар поэтический.

Лето шестьдесят шестого для Прасолова — воронежское. С конца мая и по начало сентября он прописан и живет в частном домике на исходе улицы Плехановской, ныне Московского проспекта, на выезде из Воронежа, где городская улица плавно сменялась загородным Задонским шоссе. Кров ему предоставил Виктор Шуваев, «физик и лирик», инженер с чутьем к поэтическому слову.

В уличном отростке-тупичке, в небольшом домике, в маленькой комнатке все лето прожил поэт. При взгляде на окна два огромных пирамидальных тополя невольно напоминали о тополиной Россоши. Близко от домика — аэропорт. Еще ближе — кладбище: в его чугунную ограду упирался усадебный дворик. Старинные внутригородские божьи нивы Воронеж потерял — пустил под парки и застройки, и это кладбище с несуразным и невольно многозначительным названием «Коминтерновское» вышло в главные и обихоженные. Но и здесь были могилы,

преданные забвению, вне родственного пригляда. Ни живого цветка, ни ритуального крепа… Лишь «у забытых могил пробивалась трава» — Прасолов нередко вспоминал вслух эти блоковские слова, когда, срезая угол к аэропорту, продирался через кладбище, мимо притененных густокронным зеленым пологом могил.

Аэропорт и кладбище — как две пространственно-временные сущности бытия. Движение и покой. Не духовное, пусть технократическое устремление, но все же — ввысь, к небу. И вечная недвижность бренного праха — ушедшего человечества, приговоренно уложенного в темь земли.

Стоял близ летного поля и — когда недолго, а когда и подолгу — глядел на взлетающие самолеты. Не поднебесные реактивные лайнеры, но обычные одномоторники на недальние рейсы. Или каждый из них — тот же «парус одинокий в тумане моря голубом»? А душе сверхскоростные небесные корабли — к чему они? В любую даль и в любую высь восходит она. Как и дочь ее — муза.

Резко разворачивался, резко уходил.

Иногда с товарищем, гостеприимным хозяином дома, у которого при его инженерной должности водились деньги, забредали они в аэропортовский ресторан. Обедали, выпивали две-три рюмки. Иногда читали что-нибудь из классики.

Случалось, уходили за памятник Славы на Задонском шоссе, в поле, к истоку густо заросшего терном оврага. Там поэт раздевался, как на пляже, и долго сидел или полулежал так, словно надеялся вобрать в себя все тепло солнца, вобрать землю и небо. Все смыкалось, как в его стихе, — и «июля солнечная власть», и из предпрошедших времен тяга «к земле по-древнему припасть».

Из-за этого несколькими годами назад на его родине случилось с ним грустное не менее, чем курьезное. В солнечный летний день он, чтобы побыть совсем-совсем одному, ушел далеко в глубь поспевающего хлебами поля. Снял рубашку, майку и разжег костерок. Костерок был замечен. А тем годом советская ракета сбила американского летчика-шпиона Пауэрса. И иным казалось, что Пауэрсы могут объявляться и у них. Бригадир, не мешкая, собрал народ, человек двадцать, и те пошли крутой тетивой охватывать возможного «Пауэрса». Истолкли гектара три поспевающей пшеницы, пока не натолкнулись на раздетого, худотелого, невзрачного… да кто же знал, что ему невыносимо надо было «к земле по-древнему припасть»?

Многие видели в нем нескладное и внеукладное. Да еще небольшой рост. Будто Пушкин, Лермонтов или воспетый ими

Наполеон — с версту коломенскую. И лишь немногие видели прасоловскую совестливость и детскость, улыбку утреннего отрока.

Три месяца воронежского лета отдал Прасолов газете «На городских магистралях» — многотиражке трамвайно-троллейбусного управления. Многотиражка — это даже не районная газета…

Он мысленно проехал по тем былым маршрутам, трамвайные звонки с которых доносились в раскрытые окна «Молодого коммунара», когда он там работал, и весело, резко-разливчато оглашали главную городскую улицу и спуск к Чернавскому мосту.

Далее в неделю исколесил весь город, все больше трамваем. Получился некий трезубец, черенок которого — привокзалье, а рельсовые зубцы — маршруты на левый берег, по улице Плехановской и в сельскохозяйственный институт. И подобие гнутого круга тоже получилось: от вокзала — через Клиническую и Плехановскую — до вокзала.

Привычное для городского жителя — рельсы по улице, рельсы через площадь. Но — пространство, из которого нет выхода? Изо дня в день едва не весь город передвигается под электрическим током. Вперед — назад. Туда — обратно. Но нет трамвая, который вынес бы не в бесконечность, а хотя бы в задонскую полевую даль. «Вот — голубой трамвай прозвякал…» Но далеко он не уедет, он — пленник на колесах, пленник рельсов, пленник города. Ему, как оставленному в детстве мальчику, из круга не выйти, не убежать.

Три месяца показались за три года.

Еще короче — два месяца в начале шестьдесят седьмого — его газетная поденщина в Кантемировке, в редакции местной районки.

После осени с ее непролазью-распутицей на земле и низким серым пологом неба, стылого, равнодушного, словно бы потерявшего солнце, по-украински опрятная, заметенная белыми снегами Кантемировка предстала Прасолову как санная дорога в детство. В детские дни ему выпадало бывать в слободе — райцентре, которому тогда административно подчинялась его Ивановка.

В местном обиходе название Кантемировки привычно соотносилось с фамилией молдавского господаря Дмитрия Кантемира, пришедшего на верную службу Петру Первому. Никто уже не помнил, что некогда была Алексеевка, она ж Таракановка, названная так по имени и фамилии генерала, который самовольно заселил своими крестьянами местность близ

впадения реки Федоровки в реку Богучаровку. Ретивого генерала с поселенцами столичная власть скоро спровадила подальше, поскольку окраинные эти территории русский самодержец пожаловал своему молдавскому сподвижнику и сонеудачнику по Прутскому походу. Кантемир-отец хотел видеть наследником земель младшего сына Антиоха, будущего поэта и дипломата. Однако после смерти императрицы Верховный Тайный Совет определил майорат — здешние земли и поместья — во владение старшего сына Константина, военного. При Константине и образовалась здесь слобода, в связи с ним называлась то Константиновка, то Кантемировка, пока окончательно не утвердилась последняя.

Название слободы всякий раз вызывало у Прасолова две ассоциации.

Одна — ближняя: Кантемировская дивизия действительно железная — танковая (восточное слово «темир» обозначает «железо»). Танкисты, в будущем «кантемировцы», освобождали в начале сорок третьего его малую родину — Кантемировку, Митрофановну, Россошь, и он словно бы все еще слышал гул и грохот танков, навсегда увиденных детскими глазами в заснеженных полях.

Другая ассоциация — дальняя: династическая, фамильная. Но обращенная все-таки не к господарю, не к старшему его сыну Константину, но к младшему — поэту Антиоху Кантемиру.

Запись в дневнике, сделанная в Репьевке в октябре 1965 года: «Нужно найти поэтов XVIII в…», невольно заставляет задаться вопросами. Прежде всего, какие поэты подразумеваются? Зарубежные? Отечественные? Речь, наверное же, не о Гете, который принадлежал как веку восемнадцатому, так и девятнадцатому, — великого немца Прасолов знал хорошо. И не о Ломоносове или Державине — их он тоже знал не хуже, чем великого немца. Может, Кантемир, Тредиаковский? Едва ли. Они хотя и были в творческом противостоянии друг другу, но оба словно бы на одно лицо, назидательно-скучное. Правда, Кантемир не успел по-настоящему развернуться, он прожил-то всего тридцать пять лет. Но, что ни говори, не античный Ювенал и не скоробудущий Крылов: кантемировым сатирам, тяжелым, как незрелые плоды, до ювеналовых не ближе, чем Кантемировке до Рима; да и до крыловских басен — что Кантемировке до Санкт-Петербурга.

Всерьез заняться и тем более вдохновиться тяжеловесными строфами не выпал час. За газетной текучкой и бытовыми нескладицами — не до сатир позапрошлого века. К тому же текущая жизнь требовала своих сатир, но на районных газетных

полосах, малоформатных и привыкших к позитивному пафосу, им не дано было разить своими стрелами.

По весне того же года Прасолов приезжает в Воронеж. Готовит сборник стихотворений «Предвестье», вышедший через год под названием «Земля и зенит». Живет он у литератора Владимира Саблина, который из абхазского далека перебрался в Воронеж и сам мытарствовал по квартирам, но, познакомясь с Прасоловым, всегда с радостью предоставлял поэту стол и диван. Квартиры ему попадались на улицах с названиями литературными — Никитинская, Белинского, Плехановская. На этот раз — Белинского. В старинной части города, на приречном бугре, где когда-то была построена крепость, позже поднял свои кресты и главы Митрофановский монастырь, а после войны вырос главный университетский корпус. Дом по улице Белинского — не столь долгий, но гостеприимный очаг и ночлег поэту — тоже был старинный, может, еще времени петровского. Новое время не пощадило старины: в конце века и тысячелетия дом был сломан и на его месте прытко вымахнул особняк одного из так называемых новорусских. В воспоминаниях Саблина, сильных искренностью и точностью («Комната под сводами», «Подъем», 1990, № 1), рассказывается и о тех апрельских днях, когда Прасолов жил в доме на улице Белинского, готовил будущую поэтическую книгу.

Сборник выйдет внешне, по обложке, весьма скромным. Но под обложкой — полсотни с небольшим стихотворений, и есть такие, что достойны быть в русской поэтической хрестоматии двадцатого века. Это — «Неразгаданная глубь», «Еще метет во мне метель…», «Лес расступится и дрогнет…», «Одним окном светился мир ночной…»; да еще добавленные из ранее вышедшей московской, молодогвардейской «Лирики» — «Вознесенье железного духа…», «И что-то задумали почки…», «Я услышал: корявое дерево пело…»

Прасолов возвращается в Россошь. Последняя затяжная попытка не то что обустроить, но мало-мальски наладить свою жизнь на своей малой родине. С июня 1967 по июнь 1968 он снова в Россошанской районной газете, теперь она называется — «За изобилие». Изобилие чего? Для кого? О всякого рода внедуховном преизбытке, — и это в стране вечного недостатка, правда, тоже внедуховного, — он позже напишет точно, резко:

Так дай нам Бог не увидать земли,
Где изобилье, ставши безобразьем,
Уже томит создателей своих,
И властно подчиняет чувства их,
И соблазняет прихотями разум.

В редакции он как всегда, когда не навеселе, добросовестен, пунктуально-исполнителен, сдержанно-строг к себе и другим. Спустя рукава строки в полосе не даст. Казалось бы, что за служба — мотайся по ближним и дальним углам района да каждый номер дай довести, триста или сколько там их потребуется строк? Поденщина из поденщин? Но полнота прожитого дня есть и здесь, есть и радость, и горечь — от увиденного, от встреч, от поля…

На перекладных, на машинах и мотоциклах, а то и пешком добирался он в самые отдаленно-глухие уголки района, спешил побеседовать с агрономами и трактористами, доярками и свекловичницами, стариками-ветеранами всех войн двадцатого века, и никто не был для него заурядно-неинтересен.

Взлетно-запредельный в стихе, поэт и газетчик никогда не чурался родной земли, не отрывался от нее и не был никем и ничем отрываем, никогда не считал, что поездки в дальние деревни, встречи с людьми крестьянской страды — вынужденная проза, раз и навсегда пройденное в детстве и молодости и потому ненужное. Нет, то была его жизнь.

Здесь ветер, долгий, жаркий, полевой,
Идет спокойно ширью всей равнины…
Здесь жизни ход — нагруженный, иной
(И, может статься, чересчур земной),
Чем там, где люди сеют в мире слово…

Посевы зерна — хлеба насущного и посевы слова — хлеба духовного, действительно, сравнивать не ново. Главное — сеять настоящее и по-настоящему. Да, он сеял рожь, хорошо знал сеющих рожь и на этом еще всходила его строка. Жатва объединяет зерно и слово.

Дома все неостановимо идет к семейному концу. Он еще прежде, когда в первый раз очутился в стенах неволи, писал в Россошь своему даже не самому близкому другу: «Пусть она не надеется…»; и даже — жестокое: «Жаль Сережу… Не от той я родил его, от какой надо».

Его жена, спутница его жизни, — это в Россоши все видят и знают — женщина достойная и… страдающая. Она могла бы простить его столь долгое отсутствие, но вереница всякий раз неожиданных бутылок, выпивок, застолий… Нина ранилась о них, она чувствовала, что они делают Алексея чужим ей и ему самому, она понимала, что сил для такой совместной жизни надолго не хватит.

Он же досадовал, даже злился на ее невнимание, равнодушие, а подчас и враждебное, как ему казалось, отношение к делу всей жизни — листу бумаги, заполненному его строками. В сердцах смести бумаги со стола или сбросить в угол раскрытые книги, якобы не на месте лежащие, — разве так должно поступать жене поэта? Разумеется, он помнил стихи Заболоцкого о беззаветной жене поэта имярек. Но он-то не поэт имярек! И почему бы женам-ангелам, смиренным помощницам, быть только у Достоевского, Толстого и Бунина? Он уже не хотел видеть и понимать сильного, доброго, отзывчиво-прощающего сердца своей жены. Сметенные со стола листы и сброшенные в угол книги были для него приговором всему семейному.

Кружило поэта на всех правдах и неправдах.

Но незадолго до бесповоротного отъезда жены в Астрахань, на волжское низовье, он пишет, словно исповедуясь, поразительное стихотворение — «Одним оком светился мир ночной…» трагическое, но и светлое посвящение жене и сыну, мужественное с ними прощание; там каждое слово — точное, там в каждой мысли — шаги семейной судьбы в «пустоту дотла сгоревших лет». Печально и спокойно жена глядит на мужа и мимо мужа, «не тревожа, не храня той памяти, в которой счастья нет». Глаза женщины (язык не поворачивается сказать — «героини») уходят вдаль. Но, самое удивительное, и «герой» заявляет: «Ухожу я вдаль».

А чувство долга? А сын? Семья — твоя ответственность?

«Ухожу я вдаль…» Где конец этой прасоловской дали?

Вдаль и ввысь он мог уйти только в движении духовном. Даль — в стихе «Равенна» того времени. В стихотворении — солнечная, античнодревняя земля, знавшая и римско-имперское величие, и трагическое запустение, и ныне вопрошающая иную даль.

А в иной дали, на его родине, в его жизни — континентальные ветры, газетная поденщина, великие и малые стройки, уходящие в небытие деревни, дорожная русская надежда, подбитая тоской. Да еще больница, и снова — больница, и снова — она же.

В дневнике за шестьдесят седьмой год поэт ясно, не жалуясь, фиксирует свое неблагополучие: в марте — «Дышать все трудней — в прямом и переносном смысле»; в октябре — «Яма моя глубока, края обваливаются…»

В ноябре 1968 года он пишет Михаилу Шевченко с больничной койки — из Россошанского тубдиспансера: «Я после месячного лежания был в Воронеже. Диагноз тот же: очаги на верхушках обоих легких… Положили снова в стационар…

Болезнь, видимо, последствие гриппа, которым я переболел, простудившись в газетной командировке в марте… Я хотел уехать из Россоши, но пришлось месяц пролежать в облбольнице…

В последнее время я не работал в местной газете, надумав уехать ближе к Воронежу. В обкоме пообещали дать место в Рамони или в Семилуках. Но обещание не вышло, а тут обнаружилась эта болезнь… И странно, когда представишь написанное, то видишь: большинство стихов написаны в больницах, в условиях, далеких от литературы, но близких к жизни и смерти…»

Литературный текст на грани жизни и смерти — здесь Бунин. Но, скорее всего, ибо и глубже всего — Достоевский. Запись в прасоловском дневнике — того же, что и больничное письмо, года, более ранняя: «Достоевский. Вхожу исподволь».

Художнический мир Достоевского — исполинский поединок добра и зла в небе и на земле, в душе человеческой, мир, в котором — подполье и горняя высь: город и лесной скит; тюрьма, больница, монастырь.

Улица Достоевского в Воронеже — именно «по Достоевскому»: вниз к реке мрачноватый лог, почти овраг. По его боковинам — две снизки частных домишек. С одной стороны — старинный монастырь, с другой — больничный «причал»: роддом, кожно-венерический диспансер, раковый корпус.

Поблизости от улицы Достоевского располагалось издательство. Центрально-Черноземное книжное издательство, где Прасолову приходилось бывать часто, особенно когда готовились к печати его стихи. Выходя из мрачноватого красно-кирпичного издательского дома, поэт нередко сворачивал к улице Достоевского. Идти приходилось мимо роддома, где разноголосо и требовательно заявляла о себе только что народившаяся жизнь, мимо диспансера, куда вспугнутый порок устремлялся излечиться от порочно схваченного недуга, мимо ракового корпуса, где жизни приговор выносила смерть. А дальше — укромный и трудный спуск-сход на улицу Достоевского, такую негородскую и такую недеревенскую; и не было там, верно, ни одной души, в какой не жила бы ненаписанная большая повесть; если не повесть радости, то повесть беды…

Рядышком в задичалых зарослях прятался еще один спуск — прямо к реке. Кому — незряче — к реке, кому — чуткому сердцу — каждая ступенька, как шаг в бездну: лестница из могильных плит, утянутых с разрушенных кладбищ. Каждая ступенька — могильная плита. Полустертые надписи на могильных плитах было уже не прочесть. Да, именно так — «одно время сменено и поругано другим»!

В декабре 1968 года поэт отсылает свое первое письмо писателю Виктору Астафьеву, с которым познакомился в столице, на Высших литературных курсах, и в письме — все тот же больничный мотив:

> «Сейчас я весьма скован, ибо третий месяц лежу в т/диспансере, в Россоши. Год сложился очень плохо во всех отношениях. И самое противное то, что я снова в больнице…
>
> Россошь — не лучшее место для пишущего (обыкновенный тупик, где ты один и сидишь, как в яме), но выхода пока не вижу никакого».

Совсем не выход — смененное в скором времени в какой раз место газетной службы.

(При моей встрече с Афанасьевым на съезде писателей России в 1990 году он назвал свое знакомство с Прасоловым эпизодическим. Вместе с тем писатель цитирует прасоловские строки в «Царь-рыбе»; творчество нашего земляка было для него серьезным явлением.)

А поэта тяготило подолгу непреходящее состояние тоски, одиночества, душевного разлада и скитальчества; может, оттого и люди, и малая родина — Россошь — представлялись ему нередко в черном свете; чтоб не сказать — глазами некоего «черного человека». Но он же, как редкий кто, чувствовал и понимал, что такое «черный человек»! Он уже написал предупредительно, особенно для молодых, о темной, черномагической роли «черного человека», который в Есенине подменял, отравлял, убивал исподволь Есенина. А в нем? Ненавистный ему «черный человек» жил и в нем, недобрыми часами имел над ним свою цепкую власть.

Россошь — тупик? Россошь — яма? Но люди же, люди? И незаурядные, и отзывчивые на благодарность. Многие в городке и округе знают Прасолова, ценят его поэтический дар — Михаил Ульянищев, садовод, выведший добротный сорт россошанских полосатых яблок; Михаил Тимошечкин, поэт, чуткий к народному, корневому; учитель Иван Ткаченко, сельский просветитель Раиса Каменева, писатель Василий Белокрылов, молодые литераторы Виктор Беликов, Петр Чалый, позже написавшие воспоминания о нем, журналисты Григорий Тарасенко, Александр Демченко, Иван Ефименко, Иван Девятко, Алим Морозов, Иван Моргунов. Да только ли они? Еще или прежде всех — Лилия Глазко, урожденная Мордовцева, из уважаемой и далеко известной династии железнодорожников.

В квартире Лилии Глазко (в доме по улице и поныне имени

Свердлова, одного из «кристальных и пламенных», никаким боком не приложимого к Россоши, разве что карательной директивой о расказачивании: Россошь — былые казачьи земли) и теперь, треть века спустя, все тот же, Прасоловым увиденный и благодарно воспринятый мир душевной отзывчивости, интереса к отечественной литературе, мировому искусству.

Еще в бытность работы в Россошанском железнодорожном Доме культуры она сумела собрать хорошую поэтическую библиотечку, коллекцию пластинок с записями отечественной и зарубежной классики, альбомы художников, наборы репродукций. От Баха, Моцарта, Бетховена, более легкого Кальмана до Глинки, Чайковского, Бородина — десятки и десятки пластинок, которые Прасолов десятки раз и прослушал. Прекрасная музыка, нечаянная гостья в уныло-типовом доме из сырца, легко минуя стены, возносилась ввысь, в горние вознося душу, сердце и мысль. Часами мог рассматривать он и репродукции, особенно близки были его биографическому и душевному опыту русские передвижники, более других — Крамской, Васильев, Перов, Саврасов, Ярошенко.

В благословенном уголке, просветительском и по-человечески заботливом, не раз было дано успокоиться и согреться озябшему, бездомовному, внеукладному сердцу.

Уже и окончательно оставив Россошь, Прасолов писал о Глазко как о понимающей, родной душе. Женской душе, в приязни которой он находил то, чего ему недоставало «в дружбе искренней мужской». Однажды поэт поцеловал в плечо милую хозяйку дома, и та попросила ничего подобного впредь не делать. Чтобы остаться душевными друзьями.

Сохранилась подаренная им фотография. Надпись на ней: «Для Лилии Ивановны. Такое бы случись! — Переписал бы заново стихи свои и жизнь!»

Серьезная надпись, притворяющаяся шутливой.

Россошь — тупик? Не оседлая пядь родных поколений, а станция, откуда поскорее надо сесть на поезд. Родина его первого сына, малая родина — тупик? Что тут? Состояние мига? Оценка походя? Прасоловская реакция на житейский несклад? Сказать и так: человеку взыскующего духа и мощного ума бывает, как в тюрьме, тесно и на необозримом просторе, под широким небом; вспомним платоновское, раннее: «Стучится Вселенная в каземат, который есть она же сама». Человеку одиночества одиноко и в массе. Бездомному сердцу нет дома и в доме.

Нашлись, нашлись в Россоши люди, пусть и не отмеченные большими энциклопедиями, — учителя, библиотекари, местные журналисты, строители, крестьяне, — простые и сложные люди,

без которых поэту было бы куда бездомней и тягостней. Черней!

Последний его «россошанский» год был плодоносен и творчески: едва не полсотни стихов! Больше он написал только однажды — в шестьдесят третьем. Тогда, в шестьдесят третьем, была тюрьма. Теперь, в шестьдесят восьмом, выпала больница.

Затворная, режимная обстановка, а стихи не ведают стен. Рожденные на больничной кровати, стихи овеяны светом, но и сумраком, в них надежда, но и тревога, солнечный день, но и ночная прорубь; и, право, прекрасны они — ясны и загадочны — «Белый храм двенадцати апостолов…», «Подводный день лишен огня…», «Давай погасим свет…», «Нет, лучше б ни теперь, ни впредь…»

А эти стихи о матери в сенокосный день — какая живая, зримая, движущаяся картина, какая эпическая просторность и неизъяснимо прекрасная лирическая простота!

Сенокосный долгий день,
Травяное бездорожье.
Здесь копен живая тень
Припадает
К их подножью.
Все в движенье —
Все быстрей
Ходят косы полукругом.
Голос материи моей
Мне послышался над лугом…

«Ходят косы полукругом» — словно бунинские косцы из одноименного рассказа идут-поют на придонских лугах, в кольцовских степях!

В тот год Прасолов прочитал недавно вышедшее собрание бунинских сочинений со вступительной статьей Твардовского. «Косцы», «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева» — из самых задушевных, радостных, но и горьких его последних прочтений.

К Бунину, как и прежде и всегда к Пушкину и Твардовскому, поэт возвращался снова и снова, все более убеждаясь, что тот со своей неповторимой художественной убедительностью изобразил духовную и бытовую жизнь русской души, глубинные черты русского человека, где не только доброотзывчивость, смирение, милосердие, стремление к ладу, домостроительству, но и своеволие, смута «беловодьевских» упований, тоска по скитальчеству; и самое, быть может, разрушительное, жесткое — «русская страсть ко всяческому самоистреблению», «восстание на самих себя…» — эти слова из «Жизни Арсеньева» — вершинной

бунинской книги — лебединой песни про державную, монархическую, православную Россию последних александровских времен поэт как бы прикладывал на разные эпохи. И — прикладывалось.

В посланном из Россоши письме к другу Василию Белокрылову, и по житейским корням, и по мыслям, настроениям близкому более других, писателю из донской Дерезовки, хлеб зарабатывавшему так же, как и Алексей Прасолов, районной газетной поденщиной, поэт, спрашивая, любит ли тот Бунина, настоятельно советует прочитать в последнем томе «Освобождение Толстого», биографические заметки: «да и вообще он страшно нужен нам весь — русский. Сейчас в стране нашей больше русских и нерусских эмигрантов, каким никогда не был Бунин и за рубежом».

Какое точное и пророческое наблюдение — еще из 1968 года — не бытовое, но социально-политическое; в сущности — трагическое! При названном раскладе сил и умов возможность устроения в стране новой «химеры» — не за горами: как ее не назови, — рыночно-демократической, грабительски-накопительской, либерально-федеральной, американо-президентской, финансово-олигархической… Не за горами — новый мировой диктат? Мировой порядок, подменяющий или вовсе поглощающий страны со своими самобытными культурами, мировой порядок — тотальная финансовая паутина, масс-культура, антидуховность?

По выходе из россошанского тубдиспансера Прасолов, даже если бы и мог, все-таки не смог бы заглянуть на былую свою квартиру: не хотел чувствовать равнодушие стен и окон к недавно еще протекавшей здесь жизни — его, жены, сына.

В Морозовку он решился идти пешком, как часто бывало в юности. Но он и в юности не был здоровяк, а теперь… Скоро схваченный знобкой ледяной дрожью, он вдвое медленней, вдвое дольше прежнего добирался до слободы. Холод был в природе, холод был в нем. Холод, стужа, метель, пурга, мороз — сколько их в его стихах, сколько их в его жизни! «Эй, мороз, мороз, не морозь меня…» — разве не эта песня всякий раз звучала на всех застольях и посиделках в слободе его детства? Да и сама слобода-то — Мороз-ов-ка: если отбросить суффиксы — чистый мороз!

С косогора, от железнодорожного переезда, открылась слобода. Большая. Холодная. Очужденная. Несколько сот хат, в каждой свой мир, и где счастье, где горе — не знаешь. Крестьяне, учителя, которым поэт многим обязан. Рассказать бы о них, как того заслуживают. Неизвестных сделать известными — в этом ли смысл, правда, добро? А иначе как? Стареют, как вещи, и уходят

люди, и слобода теряет свою память. Вот и некогда известный Иван Домнич… Какой морозовский школьник знает о нем? А ведь уроженец Морозовки даже в «Тихом Доне» упоминается как командир красных конников. И это его конники, еще прежде схваток с казаками-повстанцами, у станции Пасеково, недалекой от Морозовки, остановили продвижение оккупационных кайзеровских отрядов на восток. Или Захар Закупнев — из соседней слободы Терновки? По сути, был до войны командующим Северной флотилией. Да кому теперь нужда в той флотилии вкупе с ее командующим? По Черной Калитве ей не плавать. И нет даже улиц, названных их именами. Даже мемориальных досок нет на непомнящей родине. Зато целой деревне приклеили имя Наума Анцеловича — комиссара над учреждениями интендантства, зам. начальника политотдела РВС Южного фронта. Поди, и сном-духом здесь не бывал. Зато — «кристальный и пламенный», пусть и третьестепенный.

И как глядел он с косогора, Морозовка, может, впервые после детских лет обрела черты истинной малой родины, зябкой, скромной, охватываемой взором и в то же время уходящей вдаль, к границам большой России. Сколько таких Морозовок на русской земле и в русской литературе!

Твардовский, его любимый поэт, сказал проникновенно и точно:

> «…В творениях подлинных художников… мы безошибочно распознаем приметы их малой родины. Они принесли с собой в литературу свои донские, орловско-курские, тульские, приднепровские, волжские и заволжские, степные и лесостепные, уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем читательском представлении особый облик этих мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен…»

Скоро в повести «Жестокие глаголы» поэт посвятит свое строгое слово своей малой родине военного времени.

Пришел он к вечеру. Мать и отчим были дома. Проговорили допоздна.

А ночь выдалась бессонной. В этой маленькой бедной хатке — как в неразмыкаемом круге. Все — как в давние молодые дни. Бедным приходит человек в этот мир, бедным и уходит. Но не владеть внешним и не иметь зримого богатства — еще не бедность. Вспомнилось давно читанное, из Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа

истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе…» А он — словно где-то меж землей и небом. Он долго не мог уснуть и чувствовал, что мать чувствует, что он не спит. Давно уже покорилась она своей судьбе, готовая, как крест, нести странную сыновью жизнь. Но как-то со вздохом призналась, что доживала б свой век куда спокойнее, будь ее старший сын — сельский учитель, семейственный и непьющий.

В бессонной, сердце разрывающей муке старший сын как бы снова переживал свою и ее жизнь — самое памятное. Да, теплота материнских рук и солнечные блики криницы, и солнечный день в ячменном поле, на косовице. Но тут же чистое, солнечное затмевает черный дым от земли до неба… И перед глазами — оккупация. И никогда не дающее свободно вздохнуть далекое, но как вчерашнее, ненавистное нашествие, жестоко ранящее душу его родины, его Морозовки, его матери. И бессильная, словно в бездну падающая детская душа…

Но медленно проступил белый день, а день человеческий — век человеческий. Утром старший сын через огород вышел к берегу Черной Калитвы. В детстве речка была ему и кормилицей, и купелью отдыха, и наперсницей сердца. Здесь он отдыхал и рыбачил, мечтал и надеялся. И приобщался земли и неба, глуби и выси: речка отражала в себе и зеленые кусты, росшие из черноземной земли, и облака высокого неба.

Позже, куда бы он ни попадал, местная река обращалась в его слушательницу, собеседницу, вдохновительницу, и было их много: Сухая Россошь, Воронеж, Айдар, Толучеевка, Криуша, Девица, Битюг, Потудань, Богучарка, Савала, — похожие, как сестры, непохожие, как их имена.

В береговых наледях Черная Калитва черна по стремнинке, течет в ледяном створе убыстрение, словно чувствуя близость большой реки. У донской луки, у большой слободы она умирает, впадая в Дон; или, может, напротив, заново обретает рожденье?

Большая слобода у донской луки — Новая Калитва — его боль. Там родилась Вера Опенько. И так быстро угасла. Много пепелищ на его родине и в его душе. Но память о Вере — не пепел…

Прошлой весною, на пару дней заехавши в Новую Калитву, он вдруг резко, мучительно пожелал пройти тою дорогой от донской слободы до суходольного села, какою не раз ходила Вера. В попутчики он пригласил Белокрылова, и они уже поднялись по булыжниковой дороге вверх, за околицу, к развилке, но тут Прасолов вдруг сказал, что этот путь ему надо пройти одному. Было полнолуние, было светло как днем; цветший в логах боярышник был и призрачен, и сказочен, и шаровидные кусты его

словно двигались. Что-то мешало ему идти. Может, мысль, что весь мир идет дорогой утрат. И все время стояла перед ним, идущим, картина — прошлогодний рассказ случайно встреченного знакомого — рассказ, больше похожий на творимую легенду.

В летний день, в пору жатвы, Вера шла этою дорогой меж дальними селами. Машины обгоняли, вздымая густую пыль. И в непроглядной пыли ее сбил грузовик. Ее заметили вечером, на обочине. Кофточка была такая белая, словно Веру с ее чистой душой не взяла пыль. Вера лежала, как живая, глазами в небо; кругом белел разлив ромашек — ее любимых полевых цветов.

Если и сгубила ее дорога, то — ранневесенней распутицей, зимней стужей, стылыми осенними ветрами: путь был не близкий и не однажды. И семья, и быт, и даже любимое учительство — все давалось трудно. На уроке надо было много говорить, а горло было слабое, мучила постоянная ангина. И легкие были слабые. Угасла с нездоровым румянцем на лице, сгорела тихо и скоро, как тоненькая свеча. Словно вздох земли послышался тогда…

А я стою средь голосов земли,
Морозный месяц красен и велик.
Ночной гудок ли высится вдали?
Или пространства обнаженный крик?..
Мне кажется, сама земля не хочет
Законов, утвердившихся на ней:
Ее томит неотвратимость ночи
В коротких судьбах всех ее детей.

Но и когда одним дыханием явились эти стихи, рожденные смертью и посвященные памяти угасшей Веры, он чувствовал не столько участливость, «человечность» земли, томимую летучим, скорым уходом всего живущего на ней, но и леденящую ее безучастность: ей, маленькой пленнице Вселенной, предуказан свой путь. Свое зависимое движение.

Не пройдет и трех месяцев — Прасолов уже далеко от Россоши, от Морозовки. Восточная окраина области. Терновка. Редакция районной газеты «Красное знамя» — название, еще десять лет назад отмеченное в его трудовой книжке: в кратковременную бытность его газетчиком в новокалитвянской районке. Но и под очередным «Красным знаменем» поэт не продержался и трех месяцев.

В Терновке — ни терний, ни роз. Но поблизости — Савальский лес. Не Шипов дубравный лес — «магазин корабельных строений», не усманские заповедные рощи, не

Хреновской бор, где создавалось фундаментальное «Учение о лесе», и все же поэта чем-то притягивал насаженный у Савалы-речки лес; меж сосен, меж осин — березняки, такие белые островки. О Савальском лесе поэт упоминает в письмах. Навеянное им — «живая душа, жегшая костер со мной и без меня на мартовском снегу», — легло в строгий лирический дневник «Огнище»; под стихами — надпись: «1969. Савальский лес».

И в этом поэтическом цикле, столь же ясном, сколь и загадочном, в стихах — свободных, недоступных, тайных — сквозит, погромыхивает давняя, невчерашняя «тень беды», не идущая, но ведущая от раннего «знака беды» к позднему «дому беды».

А мне и в день счастливый
Почудится у ног
Весеннего обрыва
Отвесный холодок.

Уже снова из Морозовки Прасолов в письме к Шевченко от 4 августа 1969 пишет, что, когда в Терновке почувствовал себя скверно, а подходящей больницы поблизости не было, он выехал в Воронеж, где и пробыл — проболел — с мая по конец июля. И что же дальше?

> «Снова надо куда-нибудь „втыкаться“ в газету: хотелось бы попасть в район поближе к Воронежу, например, в Рамонь. Но дадут ли что-нибудь в этом отношении в обкоме, — не знаю. Неустроенность моя — бич мой».

Хохол. Последняя редакция

Хохол — райцентр в полусотне километров от Воронежа — последнее пристанище Прасолова-газетчика. Газета называлась «За коммунистический труд», здесь он проработал более полутора лет — с 1 сентября 1969 года по 27 мая 1971 года.

Село, существующее с семнадцатого века, во второй половине двадцатого переросло в рабочий поселок, — тогда здесь вырос большой сахарный завод. Историческими достопримечательностями Хохол похвалиться не мог. Разве что приезжала сюда в 1931 году иностранная писательская делегация, в которой за руководителя был известный француз Поль Вайян Кутюрье, какой, возвратясь в Париж, написал о Хохле в «Юманите» — главной газете французских коммунистов. Но не обидятся ни Кутюрье, ни немецкий писатель Карл Грюнберг, ни американский журналист Джон Кьюнитц, ни венгерский поэт Эмиль Мардаш, — для Прасолова куда существенней, что здесь побывал Твардовский, когда после войны баллотировался в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Теперь в Хохле, помимо памятной доски, засвидетельствовавшей гостевание иностранной делегации, есть и две «поэтические» мемориальные доски: ранее установленная — с именем Александра Твардовского, более поздняя — с именем Алексея Прасолова.

Поселок по внешнему виду был уныло-сер, ни одного здания на особицу, как то было в недорушенных войнами и революциями уездных городках — благодатных островках былой провинциальной Руси. Но так сталось, что сколько Прасолов не менял географически места газетной службы, уездный город, хранитель исторической памяти, так ему и не выпал; ни Острогожск, ни Павловск, ни Новохоперск, ни Бобров, ни Борисоглебск… ни один из уездных центров былой губернии; лишь — большие села, при Советской власти отданные под райцентры.

Между тем новообретенная Прасоловым редакция и ее сотрудники пришлись ему по душе. Народ не без творческой искорки, открытый и на шутку, и на серьезное. В дневниковых записях той поры мелькают «редакционные» имена. Кто-то был с ним рядом в командировке, кто-то доставлял его стихи в Воронеж. Редактор Вадим Кордов, вполне понимая, кто к ним пришел, помогал чем мог и как мог. Анатолий Свиридов и Александр Смирнов позже напишут воспоминания о поэте и журналисте.

В хохольской районной газете Прасолов периодически готовил полосу «Патриот». Районка — что молотилка, успевай снопы подбрасывать. Приходилось писать и о новостройке, и о молоке, и о сорняке. И все же именно «Патриоту» отдавал он немалую часть рабочего времени. Да и частицу души — тоже. В «Патриоте» — память. Память никогда не стояла на обочине его строки.

Выдавался свободный час — перечитывал Пушкина, Лермонтова, Блока, также Тютчева, Заболоцкого… Иногда пролистывал журналы, давно уже не надеясь найти в них истинно значительное. Переписывался с литераторами. В январе 1970 года получает короткое письмо от Твардовского. О Твардовском в ту пору думал часто: видел, как затягивалась петля.

Ночь — самая большая свобода и несвобода: ночью — стихи.

В жизни — последняя попытка уйти от одиночества. Житейского и иного одиночества. Рабочие столы сотрудников редакции Раисы Андреевой и Алексея Прасолова оказались рядом. «Вдруг» — характерное для прасоловского мира. Здесь же — «все произойдет не вдруг»… а как бы прорастая, восходя, день за днем, исподволь и всерьез.

Весною, в начале апреля, по редакционному заданию им потребовалось выехать в Гремячье. Это — большое долгое село и на холмах, и в низине, у самого берега Дона. Мутно-половодный Дон шел в разлив не по дням, а по часам. В один день дела сделать не удалось, пришлось остаться на ночь. Низинное Гремячье бодрствовало: вода скрыла нижние венцы домов, и в домах — двери настежь, свет горит, никто не спит. Тревожное чувство, но и какое-то необъяснимо странное, небывалое: словно Венеция в трех десятках верст от Воронежа.

Рая на восемнадцать лет моложе Алексея, но и он чувствовал себя молодым, и было в тот час тревоги счастливое двуединство: молодость — это поэзия, поэзия — это молодость.

И с горы мы увидели это:
Островки отрешенной земли
И разлив, как внезапный край света, —
Вот куда мы с тобой добрели…
Эти кем-то забытые сходни —
Для шагов осторожных твоих, —
Так всходи и забудь, что сегодня
Слишком много дано на двоих.

Скоро он в письме в Россошь посчитает необходимым сообщить:

«Я не один. За другим столом сидит человек по имени Рая Андреева и читает Шиллера — скоро летняя сессия, а она — заочница ВГУ. Работает в нашей газете; в апреле мы скрепили свой союз…»

Они поселились на частной квартире. Комната — проходная.

Осенью в старом доме им выделили квартиру со старой печью. От печки — чад, угольная пыль вредна для легких и поэта, и его будущего сына. Жить в такой квартире — радости мало.

Но еще раньше, в начале лета, Прасолов обращается в правление Союза писателей РСФСР, в письме обстоятельно излагает тогдашнее свое житейское и литературное положение:

«Обстоятельства вынудили меня обратиться к вам с этим заявлением. А обстоятельства таковы. Я числюсь в составе Воронежской писательской организации со дня приема меня в члены Союза писателей — с мая 1967. Я поэт, имею три сборника стихов. Работаю над новой книгой „Во имя твое“, которая должна выйти в этом году. Для творчества мне остается очень мало времени — ведь я работаю литсотрудником отдела партийной жизни районной газеты, которая требует полной отдачи рабочего дня и тебя самого. Зато я всегда среди тех, кто кормит страну, — среди колхозников в поле, на фермах. Работа в газете у меня на первом месте, литературное творчество — на втором. Ладно уж, ночь зато моя.

Но и ночью негде работать: я с женой живу на частной квартире. Здесь, в районе, надеяться на квартиру мне не приходится — в перспективе пока ничего нет. Скоро у нас будет ребенок, жить в таких условиях и писать невозможно.

В Воронежской писательской организации лежит уже не первое мое заявление о квартире. Не первый раз я слышу посулы. И только. Ничего конкретного нет.

Район, где я работаю, в часе езды автобусом от Воронежа, бывать в литературной среде я могу редко — от случая к случаю. Да что там делать? Ведь меня по привычке не приглашают даже на обсуждение журнала „Подъем“, не включают в состав бригад, организуемых бюро пропаганды художественной литературы. Я уж здесь сам организовал два литературных вечера — в Доме культуры, в школе. Все это самодеятельность. Прошел очередной съезд писателей. С материалами съезда нас ознакомила „Лит. газета“. В отделении Союза писателей, когда я спросил делегатов, никто не сказал

ни слова о съезде, о впечатлениях, о сущем, ради чего делегаты ездили.

Л. Соболев на съезде сказал об участии — самом активном — писателя в газете. Да, пусть я в районной, пусть мой очерк о вывозке навоза, о привесах и тех, кто их добивается, но это — жизнь, которая возмещает недостаток, а вернее — полное отсутствие литературной жизни, которой хочется, которая в конце концов необходима писателю. Моя вынужденная отрешенность, отграниченность от организации не может больше рассматриваться как временное явление. Я должен писать, у меня есть чем и о чем писать, но где — даже этот вопрос стал уже многолетней неразрешимой проблемой. В одиночку я ее в моих условиях не могу решить, писательская организация для меня — поневоле — формальное понятие.

Извините за беспокойство. Но вопрос о своем положении писателя я считаю требующим решения и помощи в этом решении.

А. Прасолов. 5 июня 1970».

Ждать воронежской квартиры пришлось почти год. Семейный быт в райцентре оставался неустроенным. Жена, в ожидании будущего ребенка, вынуждена была уехать к своим родителям — в село Челнаво-Рождественское Тамбовской области.

Начало лета семидесятого года. Июнь душен и сух, не дает дышать в полную грудь. Поэту еще нет и сорока, а в иной час накатывает так, что он ощущает себя вдвое старше. Куда подевалось чувство весенней молодости?

Тяжесть исходит из астрономически дальних сфер, от бунтующего солнца, от магнитных бурь. Жарко, тяжело дышит земля. Дни тяжелые. Горизонты тяжелые. Пыльные бури надвигаются с востока…

Когда спадает жара и солнце заваливается за горизонт, он с товарищем идет к берегу речушки. Но свежести и здесь нет. Ему в тягость еще вчера приязненный товарищ, ему хочется, ему надо побыть одному, одиночество — спасение!

Назавтра он решает уйти на дальний пруд, по вечерам обычно пустынный. И на другой день в сумерках он действительно добирается туда, и пруд действительно пустынен. Ни души человеческой.

Одинокая лошадь, едва видимая в темноте, выдает себя тихим ржаньем. Стоит у самой воды. В его жизни уже было это —

тишина, заросший, как озеро, полевой пруд, наклоненная к воде конская голова и звездное небо. Большими буквами — Звездное Небо. Мирозданье. И снова, как тогда, он думает о том, что же видится одинокой лошади у воды, ненадолго свободной от седока, от упряжи, от поденщины на кружиле, от всемирного цирка? За одинокой конягой у ночного пруда словно бы угадывались миллионы их, долгие века служивших человеку и на поле брани, и на поле хлебной страды. Тогда небольшой пруд как бы вбирал в себя все времена и пространства. Тогда родились стихи, которые он вдруг стал читать теперь другой лошади у молчаливого ночного пруда, на фоне звездного неба, где реактивный самолет или космический спутник — как непрошеные гости.

Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна,
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она.

Что ей, старой, виделось, казалось?
Не было покоя средь светил:
То луны, то звездочки касаясь,
Огонек зеленый там скользил.

Небеса разламывало ревом,
И ждала, когда же перерыв,
В напряженье кратком и суровом,
Как антенны, уши навострив.

И не мог я видеть равнодушно
Дрожь спины и вытертых боков,
На которых вынесла послушно
Тяжесть человеческих веков.

Эту тяжесть веков-оков он ощущал и на себе, и все явственней. Да и текущее угнетало, давило. Получил известие от матери о смерти родственника — близкого человека. Скорбная весть, запись в дневнике: «Могилы нашего рода разбросаны по стране». Запись скорбная и… незаконченная — в смысле драмы

самой страны. Трудно предположить, чтобы он не думал далее: была Гражданская война, и еще война, был исход — и могилы русских разбросаны по всему миру. Он хорошо знал Бунина, Рахманинова и знал, что на чужбине остались не только они, — сколько русской силы лишилась Россия! И что же дальше? Когда-то Русь в полон уводили на аркане, со связанными руками. А в его веке она — в немалой своей части изгнанная или ушедшая в изгнание.

Записывает в дневнике: «душа какая-то притихшая, как опустелый дом…» и невольно думает о неизбежном часе, когда весь мир станет как опустелый дом.

Три июньских дня кряду Прасолов приходил на работу с заметным опозданием, чего с ним прежде никогда не случалось. Был особенно мрачен, нервозен, раздражителен, и редактор уже знал — хорошего не жди, но не знал, как нехорошее предотвратить.

В обеденный перерыв поэт упросил знакомого взять для него, до скорой зарплаты, «огнетушитель» — тяжелую бутылку в три четверти литра плодового вина. А после обеда уже, как скошенный, он лежал на затравелом заднике двора под палящим солнцем. Руки вразброс, весь как живой крест. Глазами в небо, но Неба не увидать. Он себя не помнил, он не чувствовал, что он есть. Когда же пришел в себя, кругом чернела ночь и во дворе никого не было. Сначала он обрадовался, что его никто не видел — такого, а затем вдруг по-детски обиделся: почему никого нет рядом, неужели никому неохота ему помочь?

(Чем помочь, Поэт, какою правдой и силой? Сколько русских, да и только ли русских, даровитых, талантливых, честных сердец погибло от «горькой»? От чахотки? От мировых волн и бурь? От невнятных подземных толчков и небесных гроз? От надлома, надрыва? От непонимания близкими и неблизкими? От одиночества, поверхностного объяснения которому нет? Сколько великой музыки ушло вместе с безвременно ушедшим Мусоргским? Сколько сокровенных картин не дорисовал Саврасов? Сколько прекрасных стихотворений не допел Есенин?)

Он долго сидел под звездами, на штабеле свежих сосновых досок, грустно подумав о назначении их: то ли для дома, то ли для домовины-гроба… Он чувствовал себя больным, но все же воля жизни поднималась в душе и теле, мозг и память его уже работали сильно и четко. Да, болен. Может, и как Полежаев. Александр Полежаев. Водка и чахотка — как злые и неразлучные сестры. «Все страшнее воют бездны» — это из «Песни погибающего пловца». Да ведь все живущие — пловцы, и многие не доплывают. У того же Полежаева — бездомовная, на колесах,

жизнь, лазарет. И было с чего написать: «Не розы светлого Пафоса, не ласки гурий в тишине, не искры яхонта в вине, но смерть, секира и колеса всегда мне грезились во сне!» Среди прочего вспомнились почему-то и слова из «Двойника» Константина Фофанова, поэта, прочитанного им не без интереса и сочувственно, — «он на оргиях встречался и встречался у гробниц». В памяти всплыли и биографические штрихи поэта, родившегося более века тому назад. С женой, кажется, повезло. А так — горемычный удел, жалкий быт, винная пагуба, болезнь, нищета. В последние годы напрашивался хоть в дворники, хоть в половые. И в стихах — жалобы на тяготы и удары судьбы, завидует бронзово-изваянным творцам: им и зимою не холодно, они не замерзнут.

(Но, и еще раз но… Что у Фофанова, что у Прасолова, что у других поэтов, необласканных судьбою, временем, властями, драма в поэтической строке отнюдь напрямую не вытекает из драмы лично-житейской или политической. У поэзии — свое, только ей данное и принадлежащее, где бы она ни рождалась и ни проявлялась. Как и у поэтов. У настоящих. Где они ни живи, чаще всего над ними — рок. И здесь мало что решают географический пояс, среда и такие мифы, как свобода, у которой обличий больше, нежели истолкователей ее и всякого рода песнопевцев. Тот же Фофанов на сей счет не заблуждался: «В свободном городе Нью-Йорке поэтов лавры очень горьки». Опять-таки — поэтов настоящих, истинных.)

Поэзия — состояние, где не все можно объяснить литературоведчески, психоаналитически или иным жестким образом: острый скальпель здесь обычно скоро затупляется.

Объяснения же образу жизни творца и его подчас печальным пристрастиям, в том числе и «зеленому змию», существуют самые разнообразные — биологические, психологически, генетические, социальные, даже политические.

«Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас», — это Владимир Высоцкий. А ведь любимая песня Высоцкого — «Вставай, страна огромная!», и он, по-платоновски понимая, что «начальство не равно Отечеству», он внимает шагам страны, но презирает шажки временщиков.

Но вернемся ближе к Воронежу. Районный поселок Хохол спал, и, когда Прасолов зажег в доме свет, тот был единствен на всей улице. Поэт умылся холодной водой, ему стало лучше. Он принялся на ночь глядя перебирать бумаги, попалось на глаза пять лет назад им написанное — «О Есенине вслух». И его словно бы утянуло в текст — в самую глубину, в нужные, точные строки:

«Есть в поэзии Есенина страшная сторона — Черный человек. Тот, кто примет его в свою душу, погубит в себе живое, надломит себя. Черный человек отнял у нас поэта. Молодежь часто ограничивается одной стороной Есенина — отчаянной удалью, раскованностью молодой души. Эта душа буйствовала, даже хулиганила. Но в ней кипел избыток сил, которые творили, им было порой тесно, и они вспыхивали ярко до дерзости. И мерзко выглядят те, кто, подняв непосильный стакан, пытается „приобщиться“ к этому буйству чистых сил».

Он трижды повторил — «Мерзко выглядят те…», резко произнес, будто надавил карандашом. Карандаш сломался…

Может быть, и в каждом человеке пребывает демоническое. Притаенное. Или спящее. Или подавленное. В поэте — более других. Демоническое в том смысле, как понимал его Стефан Цвейг, — выход за пределы «я»; то беспокойное до одержимости состояние, которое гонит человека «в беспредельность, в стихию: словно природа оставила в каждой отдельной душе неотъемлемую беспокойную частицу своего первобытного хаоса…»; и далее: «Жизненное беспокойство всегда служит первым признаком демонического — беспокойство крови, беспокойство нервов, беспокойство ума…»; беспредельность, по убеждению Стефана Цвейга, — исконная природа всего демонического.

«Беспредельность», «запредельное» — ключевые слова у Прасолова. Главный его хронотоп — обратимся к научному определению, которое «обнаружил» и впервые точно применил Михаил Бахтин, — хронотоп пути-дали. Хронотоп Запредельности. Хронотоп Вселенной.

Но не поджидает ли в конце пути первородный хаос? Грекам представлялось, что Александр Македонский дошел до самых границ Хаоса. То — полководец. А как быть поэту? Полководцу дано не бояться войн и разрушений. Но как быть творцу, мечтающему о мире и гармонии, но тревожимому и вспышками демонического? Невольно тянущемуся заглянуть в бездны хаоса? Стефан Цвейг говорит, что Поэту, Художнику ничего иного не остается, как или победить Демона, или подчиниться ему. Гете — победил. Ницше — потерпел поражение, может, даже и не захотел победы. У русских победил Пушкин. А Лермонтов? А Блок? А Есенин? Прасолов острее многих чувствовал, что за гость «черный человек», некий инообраз демона, черный непрошеный асмодей души, все вокруг предающий соблазну и разрушению.

Наутро Прасолов пришел в редакцию вовремя. Вид у него был

строгий, но и словно покаянный — вид человека, который решается на трудный шаг. Редактора он попросил позвонить в обком, попросил дать возможность месяц-два полежать в больнице, подлечиться.

В больницу его доставила редакционная машина. Но прежде Прасолов побывал на холме, с которого видно Дон, задонскую даль. Долго и молча стоял. Дон был намного уже, чем на юге области, но и здесь судоходство не обрывалось. Две баржи, груженные битым камнем, прошли вверх и вниз, огибая друг друга. На противоположном берегу загорали детишки. На лугу пасся табунок стригунков. Вдалеке скорее угадывался, чем виден был Воронеж. Благодать или обманчивая благодать?

Неподалеку больница, печально известная Орловка, где ад и рай переплавились в «вывихнутых» человеческих душах, где в зарешеченных палатах пытается выздороветь «смещенная безумьем жизнь»; где больных пытаются излечить от «горькой», от устойчивой тоски-подавленности, от чувства преследования, не засыпающего ни на ночь, от навязчивых маний исключительности, гениальности. В старых кирпичных узницах — русскорожденный Сервантес, заново переделывающий «Дон-Кихота», и Наполеон, разрабатывающий планы, как раз и навсегда опустить на дно морское досадный прыщ — Альбион, и Микеланджело, рисующий конец света и Суд Господень… Там уходят в кругосветные путешествия, погружаются в океанские глуби, летят к Венере; там обретаются свои провидцы, которые уверяют, что Воронеж — колдовской край, а Америка — империя Антихриста; там судят прошлых, настоящих и скоробудущих временщиков. Шлют наставительные послания в былые и грядущие века. И там всегда находятся просто надломленные несчастьем люди, безобидные, кроткие, покорные люди, которым плохо, которым хочется иметь в душе и семье мир, давно не существующий.

Поэт пробудет в лечебнице полтора месяца. И выйдет со стихотворениями, каждое из которых как фреска; одно другого лучше и трагичней. Трагедия угадывается уже в начальных, назывных строках — «Вчерашний день прикинулся больным…»; «И вышла мачта черная с крестом…»; «В тяжких волнах наружного гула…»; «Она вошла во двор несмело…»; «И опять возник он, с темным вязом…»; «В ковше неотгруженный щебень…»; «Приподнятые уносила плечи…», «Торжествует ночное отчаянье…»; «Черная буря идет по земле…»

«Черная буря идет по земле — буря с Востока…», но как же — экс ориенте люкс? С востока свет? В прасоловском стихотворении и метафизический, религиозный смысл. И может быть —

экологический и символический. Идет затмевающая солнце черная пыль, «черный мой снег»… Невольно вспоминается «черное солнце» из «Тихого Дона».

На исходе лета он вернулся к прежнему газетному делу.
А на исходе года — 26 декабря 1970 — родился сын.

Тебе, кого я в мире жду,
Как неоткрытую Звезду,
Ждет днем и ночью Человек,
Уже забыв, который век…
Уже — ни молодость, ни старость,
Уже светил круговорот
В глазах пошел наоборот,
И Человеку показалось,
Когда свой взгляд он устремил
На небо, — не звезда рождалась,
Рождался заново весь Мир.

Рожденный сын. И словно бы заново рожденный поэт.
31 декабря, в полуночный праздничный час, пишет:

«С Новым Годом, мои родные!!!
Нас трое… позвонили с почты: у Прасолова сын…
Имя, данное мной, одобрили — русское, хорошее… Михаил!!!»

Друг Михаил, в его честь? Но и — Михаил Лермонтов? Михаил Ломоносов? Михаил Черниговский?
А по ночному небу — Михаил Архангел.

Дивногорье

Семидесятый год закончился, ушли его дни, в каких привычно отсоседствовали поденщина и поэзия, быт и дух. Новый год Прасолов встречал в санатории для легочников.

Санаторий размещался в стенах бывшего Дивногорского монастыря, на берегу Дона. Сверху нависают меловые кручи, белые меловые столпы — Дивы. В узкой прибрежной полоске меж рекой и кручами тянется железная дорога, день и ночь стоит гулкий грохот. Санаторный, лечащийся люд — «народ всякий — больше тяжелый по-обывательски. Когда эта продукция иссякнет на Руси? Молодежь хуже стариков».

И однако уголок выдался действительно дивный, может, лучший в жизни поэта, если б не болезнь. Сокровенная пядь! В самом названии «Дивногорье» — восторженная, высокая высота, и предание, и миф, панорама географическая и историческая; словно бы естественная вписанность в ряд духовных названий, значимых для славянского слуха: Белогорье, Святогорье, Беломорье, даже Беловодье.

Четверть часа вязкого подъема вверх, и с кручи открывается «огромной дали полукруг», и даже весь круг — просто необозримый, будто внегоризонтный. Время и пространство — как бы единое целое. Под небом вечности человеческая история — словно маленькая девочка, на древних холмах, в молодых травах оставляющая свои бегущие шаги. Протяженность истории здешней — зримая: сохранившая свои валы и стены хазарская былая крепость, выше по течению реки, на придонских холмах — славянские городища, в широких полях — скифские и бог весть чьи курганы. Дон — бирюзовая дорога, на которой умеющий видеть разглядит и древние переправы, и средневековые суда духовных посольств из Москвы в Константинополь, и струги Фрола Разина, Степанова брата, с напрасной надеждой — взять приступом близкий, верный государевой власти Коротояк. А как не увидеть Петровской армады, плывущей штурмовать Азовскую крепость? У Дивногорья флотилия причаливает на отдых. Пушки палят, черноризцы крестятся. И горним молчанием молчат Дивногорские пещеры, прорубленные монахами киевскими по благословению митрополита Киевского. Митрополита Могилы. И сами пещеры с подземными церквями для неверующих, маловерующих, иноверующих — что могилы, но для верующих — что горние обители.

Прасолов уже на второй день Нового года пишет «дивногорское» письмо, из которого существенное можно

прочитать и понять в человеке, поэте, даже если до этого не знать его, не знать ни единой его строки.

> «…С 15 лет… впервые мне стало понятно, что такое Одиночество — как мой Рок, как клеймо на лбу, как тавро, которое не стерли ни материнские, ни женины руки — тогда, не сотрут никогда и теперь…
>
> Одиночество без прописки живет со мной, как и я, в моей келье — душе моей: я с ним пришел и уйду…»

(Все-таки странное, малоожиданное начало письма к молодой жене и матери его сына-младенца: семья как триединство отца, матери и дитяти едва образовалась, а над нею уже повеяло холодком распада. Замаячила тень уходящего одинокого. Одинокий мужественен и безжалостен: ему не дано утешать или же он не хочет утешать, в милосердии поступаясь истиной. Истину и гуманизм не срастить. Правда выше всякого утешительства. И даже — выше любви?)

> «И уйду я в мир, который М. Лермонтов назвал своим домом:
>
> Мой дом везде, где есть небесный свод,
> Где только слышны звуки песен…»

(Песни поют люди на земле и ангелы в небе. Но дом человеческий — и на земле, да под небесным сводом! Все и вся — Небо, его горная высь, его земная драма. Небо космически, метафизически, онтологически живет в прасоловской строке: движутся светила, сгорают звезды, грозно сверкают запредельные, надмирные сполохи, бесконечно равнодушные, чуждые к земным человеческим судьбам. Космический холод и мрак. Но если не в прасоловской строке, то в прасоловской душе, взыскующей Неба, есть место Вседержителю?)

«Да, это Дом колхозника — Дом Беды, которую, как ни парадоксально, я назову частицей мира — счастья моего — смеха сквозь ночные слезы (о, сентиментальность взамен мужества!). Да и слез не было — оттого не легче на душе…» (Реальный Дом колхозника в поселке Хохол, давший короткий приют районному газетчику, под пером поэта обретает жесткий символический образ Дома Беды. Парадоксальность — движение черно-белых контрастов, сближение несоединимых берегов, противостояние враждебных и родных полюсов — обычное проявление прасоловского поэтического мира, его дара, его поэтического

сердца, способного даже в трагическом видеть намек на счастье.)

> «А обстановка — располагает — и духовная, и предметная. Люди передали себя нам через храмы в пещерах, где я брожу (вчера еще был в Больших Дивах — церковь относится к 17 веку и служит по большим праздникам…)».

(Дивногорские пещеры — как вход в духовное, идущее от апостольской церкви: пещеры — в глубинной толще земли, но свечи и иконы взывают к Небу. Поэт не забывает упомянуть пещероустроительную монашескую братию: несущий в себе знание прошлого и прозрение будущего, он всегда помнит об ушедших, кто истово исполнил свое дело на земле.)

> «Я удивляюсь, как много можно написать в санатории, где ты полубольной, полуздоровый — а фактически свободный человек…»

(Он об этом уже говорил, действительно так: большинство стихов написано в обстановке, к литературным трудам мало располагающей. Больница — человек заключен, тюрьма — вовсе заключен, а в санатории по рукам и ногам связан лечением и режимом. Но дух-то человеческий свободен. Свободен и в санаторном корпусе, и в тюрьме, и в больнице. Здесь самый раз сказать, что Поль Верлен, вынужденный писать в больницах и даже о больницах, более предшественник Прасолова, нежели растиражированный в местной литературной среде Франсуа Вийон; разумеется, все эти параллели-сближения, достаточно поверхностные, напоминают литературные упражнения, и смысла в них мало, если вообще таковой в них существует.)

> «Я давно не младенец, но по-младенчески имею неиспорченное зрение на мир — вот мое спасение — моя Муза зрячая… Личное и „гражданственное“ — родня, во мне и обретает свой голос все крепче и крепче».

(Большие таланты глядят на мир детскими глазами, верными, схватывающими сущность, неизлукавленными. И видят его, как видят дети. Детский мир естествен и не омрачен утопиями, делами и грехами взрослых. Мир же взрослых двадцатого века — мир сломанного времени и пространства, хаоса и антитворения. Но поэт, как и ребенок, жаждет света и творчества. И нередко, чем не больше он ребенок, тем больше поэт. А в большом поэте личное и гражданственное —

неотделимо. В одном сердце! И истинный талант не станет изливать в сонете свою зубную боль в час, когда, скажем, народ гнется лихолетьем или гибнет на полях сражений.)

И удивительное, может, прежде небывалое в его атеистическом окружении, в нем самом, — не ребенке, когда он с матерью выстаивал на пасхальной службе в сельской церкви, — в нем, нынешнем: «…Иду рано утром за 4 км, в Дивы — на богослужение в пещерном храме…»

В прежних его тематически религиозных стихах, весьма малочисленных, есть серьезные мысли и образы, тонко подмеченные штрихи о небесном и земном, верующих и неверующих, однако отсутствует то, что именуется «чувством Бога», что есть неизбывная явленность божественных начал в душе и сердце. «Но, Господи, твой византийский лик не осенил мальчишеского сердца», — это из того же стиха, где спасительницей стоящего в голодной очереди подростка военной поры выступает «не Матерь Божья — тетенька из ОРСа». Всякие бывали «тетеньки», и читать подобное — грустно. Но в таком времени жил и писал поэт, в эпохе, которая тщилась устроить земное счастье без Бога. В прасоловских стихах на цензурно-л***и***товских этажах углядывали переизбыток религиозной лексики, и слова — Бог, Господи, слава Богу, душа, дух — прореживались, как при прополке, а уцелевшие шли отнюдь не с заглавной буквы.

Он каждый день — на высоком просторе, под высоким небом. Снова начинает рисовать. Карандашом наносит в записной книжке белые Столпы-Дивы, пещерный храм.

И пишется ему здесь, как редко бывало прежде. Поэма «Владыка» («Дивы»), стихи «Казачья дума», «Дивьи монахи», «Сыну» — и навеянное Дивногорьем и в Дивногорье созданное. Здесь же завершает и маленькую трагедию «Безымянные».

Готовое шлет в Воронеж, в столичные журнальные редакции. Последние свои сборники высылает Стукалину и Пескову — давно москвичам, но и всегда воронежцам, младокоммунаровцам.

В том январе Кубаневу, поэту, которого уже давно нет в живых, исполняется пятьдесят, и о нем идут большие радиопередачи, местные газеты посвящают ему целые полосы, как и подобает в случаях с серьезными поэтами, пусть даже и не успевшими сказать главного слова, сгоревшими на заре жизни. Но разве и серьезных поэтов — не однажды и не одного — не настигла участь пребывающих в безвестности? И большой сердечный талант нужен, чтобы имя поэта достойного, но не баловня судьбы, вывести из тьмы забвения и безвестности. Прасолов-то лучше других знает: на его глазах обозначилось имя. Как бы заново тогда рождалось поэтическое имя — Василий

Кубанев. А теперь — известность. И — «спасибо Стукалину, что собрал его после смерти, что издал, что хоть после смерти смог дать ему дорогу в литературу, к людям,» — пишет Прасолов в юбилейные кубаневские дни.

А скоро и Прасолову приходит ответ от Стукалина. В нем — обстоятельная, чуткая и в чем-то вопрошающая оценка последнего прасоловского сборника да и всей сущности прасоловского слова.

Ответ окрыляет. С женою спешит поделиться впечатлением:

> «Ответ в двух словах не передашь — это ответ на все, что мною уже сделано в жизни. Я наконец понят как поэт — до глубины».

В начале марта 1971 года, пройдя санаторное лечение, поэт покидает свое нечаянное «Болдино» — Дивногорье. Но прежде чем приступить к районному газетному делу, Прасолов спешит навестить жену и маленького сына. Тамбовская область, село Челнаво-Рождественское, — по этому адресу он еще недавно слал письма. Добирался туда так: от Тамбова до Дегтянки летел самолетом, а оттуда — семь километров до Челнаво-Рождественского — пешком. Желтовато белел, но уже оттаивал снег. Начиналась распутица. В привычку ему была эта распутица еще с ученических времен, эта надежда на свои ноги.

Жена с маленьким сыном жили у родителей — в большом деревянном доме, незадолго перед тем выстроенном. Дом стоял на улице, шедшей к реке, а улица называлась «Москва». Таким образом поэт как бы снова побывал в Москве.

Что чувствовал он, встретившись с женой и впервые встретившись с сыном, и что чувствовали они, только он и они и могли бы в точности рассказать. Всякая сторонняя приблизительность здесь что бестактность.

Прасолов прожил в Челнаво-Рождественском чуть меньше недели. Каждый день бывал у реки. Река Челновая — не весть какая, через нее мосток из жердин перекинут, а за речкой, на той стороне, — лес. Поэт и туда ходил, и по ту сторону реки однажды себя на миг почувствовал — как по ту сторону жизни.

С дороги написал письмо маленькому сыну — как взрослому написал.

Возвратясь в Хохол, Прасолов возвращается и к давно постылой газетной поденщине. Но длится она недолго. В мае семьдесят первого года воронежская писательская организация выделяет ему квартиру в Воронеже, и он переезжает в областной центр.

Первая половина года сложилась для него, пожалуй, удачно.

Он поправил здоровье. Он, пусть и на короткое время, обрел свое «Болдино» — целебное Дивногорье. Он получил стукалинское письмо — вдохновляющее, напутственное. Он, наконец, в собственной квартире, какую так долго ждал. И квартира — в Воронеже, где есть издательство, журнал, газеты, где есть возможность печататься.

Но скоро он снова и надолго попадает в больницы, а когда возвращается в свою квартиру — нагая она, пустая, равнодушная, и поэт чувствует себя в ней, как в западне.

Воронеж. Дом беды

Когда подъезжаешь к Воронежу с юго-западной стороны и уже минуешь развилку россошанско-острогожской и курской дорог, близко от города, почти на глазах его, с левой, семилукской стороны подступает к шоссе карьер. Глубоко выбранные глина и песок. Исполинский карьер, экскаваторы и люди на дне которого кажутся инопланетными пришельцами. «Карьер — как выпитая чаша»? «Ноет темная утроба»? Карьер — словно кратер небывалого на земле вулкана. Зеркала воды на дне карьера отражают небо, но и словно погружаются в бездны преисподней. Выбранный грунт пошел на обычный и огнеупорный кирпич, из него человек сложил высокие здания и горячие домны, но почему-то мысль об этом не согревает. Видишь иссохшие травы, смертно зависшие над искусственной пропастью дубы и вязы. Гибнущий лес. Ушедшие воды.

В конце двадцатого века карьер определили под городскую свалку, мусор со всего Воронежа везут сюда, и ничто уже не вернет ни прежних почв, ни прежних вод.

Эдакая на особицу Долина Шлака, как в знаменитом фитцджеральдовском романе, разве что набросанные холмы — не шлакоугольные, поскольку нет рядом железной дороги; да еще нет впечатляющего рекламного зазыва некоего окулиста с устрашающе преувеличенными глазами сквозь огромные очки.

Но глаз Вышний, Всевидящий — он есть, он видит все эти безмерные свалки крупных городов, всемирных мегаполисов. Свалки растут быстрее, чем леса и дети.

Прасолов, когда был на режиме в твердыне огнеупорного кирпича — Семилуках, знавал этот карьер, бывал здесь со своими товарищами — заключенными. Уже тогда карьер был велик. Словно подкоп под живой мир? Словно инфернальный котлован — младший брат преисподней? Или же просто — индустриальная яма?

И все же. Степной, далекий от горных землетрясений Воронеж — на тектоническом сдвиге, на геологическом изломе — какими еще карьерами, котлованами, яминами себя окружает?

Прасолов, окончательно переезжая из Хохла в Воронеж, ехал мимо карьера. Мимо и не мимо: тот как оспина на лице земли, но оспина и в его сердце. Там неволя его. Звезды, разумеется, видишь и со дна карьера, но лучше вглядываться в них с высоты горной гряды.

Карьер в литературе — часто метафора низа, пропасти, бездны. Он же и реальность прасоловской жесткой жизни. Карьер,

котлован, каменоломня, глинисто-песчаный провал, выработка-жерловина — «герои» его строк, а то и целых стихотворений. Котлован, оставленный рабочими («В ковше неотгруженный щебень…»), встречает угрюмым молчанием и забытьем. Призрак беды? Сплошь неживая окрестность? Но угасающий день освещает уступы-грани, еще не схваченные тенью, и они словно бы горят. А в провал, стуча, осыпается, скатывается камень. Есть свет и есть движение. И призывно поданный тогда человеческий голос не замирает — с «таинственно-диким вниманьем» он принимаем некоей провальной стеною. Он преображается, стократно усиленный, «огромный, пещерный». В заключительной строфе — ключевое прасоловское триединство: бездна, человек, небо. Идут природа, человек, история. Когда-то жившие в далеком дне истории слышат (должны услышать!) слабый голос нынешнего человека:

И бездна предстала иною:
Я чувствовал близость светил,
Но голос, исторгнутый мною,
Он к предкам моим восходил.

Уже написан «Дом Беды». И хочется вернуть время назад и просить, просить поэта назвать стихи иначе. В народе говорят, что когда беду окликаешь — ее же невольно и призываешь. И беда есть беда, даже если она и своеобразная провозвестница будущей радости. Дом беды — сердце человеческое? Кров, где живут знакомые и незнакомые? Малое твое село? Огромный город? Вся страна твоя? Весь земной шар?

У Твардовского — «Дом у дороги». У Абрамова — «Дом». У русской классики — эпическое, драматическое, лирическое чувство дома, чувство задушевнейшее, глубокое, народное. Боратынский, Бунин возвращаются в отчие уголки, где царит запустение, и велика их грусть! Толстой? В дневниковой записи находим объяснение его побегу — жесткое, отчаянное: «Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших». У молодого Платонова в «Голубой глубине» — замах на пересотворение Вселенной: «Мы усталое солнце потушим… Людям дадим мы железные души, планеты с пути сметем огнем»; но родительский очаг не отменяется, он, как и в былые века, тепел и притягателен, и странник с долгих дорог ищет путь домой. В «Тихом Доне» на последней странице мятущийся человек возвращается к отчему дому — «Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына».

Прасолову надоело кочевать, мытарствовать, мыкаться из угла в угол, когда любой — как будто бы свой, да не свой. Ему

хочется оседлости, хочется действительно своего дома. Но квартира истинно родным домом стать не может, это, скорее всего, вольная тюрьма, заставленная нужными и ненужными вещами. И все же! Какой-никакой свой угол, где всегда найдется место письменному столу.

Выделенная поэту квартира прежде не раз переходила из рук в руки. Не до свежести и чистоты. Две комнатки на первом этаже, окна затенены ветвями, в квартире — полусумрак. Летом — прохлада, а зимой — как в подвальном леднике; не все зимние месяцы, разумеется, но случается, что в квартире немногим теплее, нежели на улице, — предупреждают соседи. Но до зимы — еще дожить. Большая ванная, в ней тяжелая черная чугунная труба с черным зловещим отростком под самым потолком. Двухэтажный дом с несколькими такими квартирами ничем не отличим от ему подобных, в ряду стоящих. Построен вскоре после войны, грубо и наспех.

Давно ли совсем близко празднично шумел ипподром, часто проводились бега, и улица, на которой стоял прасоловский, в вечножелтое выкрашенный дом 65, квартира 6, — называлась Беговая. Ипподром закрыт. Теперь-то кому и куда бежать? Разве что в древнее и недревнее былое?

Скифами оставленные Частые курганы — за двумя-тремя километрами от дома. Их не видать, они придавлены массивами многоэтажек. А в начале века здесь велись раскопки, и был извлечен серебряный сосуд, на котором изображен скифский царь с сыновьями; редкостная историческая ценность, хранимая Эрмитажем. Может, именно здесь окраина скифо-сарматского мира?

А у реки Воронеж, тоже за немногими километрами от дома, на лесном прибрежье — цепочка славянских городищ и могильников… восточная окраина средневекового славянского мира? Легендарный Вантит?

Законсервированное прошлое, ну и пусть! Как в музее, как в архиве? Да нет же, прошлым, как и настоящим, надо жить, беря оттуда высокие духовные образцы. Но общество, теряя себя, втягивается в туманы бездуховности, обманчиво просвечиваемые искусственными лучами, спешит к потоку масс-потребительского, словно к реке с кисельными берегами. Но поэту — не по пути. И нет запасного выхода? Всегда ли можно, не кляня тьму, идти со своей зажженной свечой?

Совы мудрости начинают летать в сумраке. Но в том же сумраке тревожат воздух, чертят его насквозь летучие мыши, и поэт чувствовал, видел их густое нетопыриное мельканье. День прошел, жизнь прошла — не вернуть.

Снова совсем близко война: въяве напоминает о себе траншеями в Ботаническом саду, иссеченной рощей Сердце с ржавыми осколками в стволах деревьев и пробитыми касками в земле.

Памятник Славы на Задонском шоссе в полуверсте от дома на Беговой, и Прасолов приходил сюда часто. Его тянуло сюда. Здесь и явилось ему скорбное, мужественно пророческое — «Я умру на рассвете…» Только ли ритмическая перекличка с реквиемом Твардовского — «Я убит подо Ржевом»? Нечаянная или сознательная? Как преемственность? Если жизнь многих, так или иначе далеко ушедших от завета погибших фронтовиков: «счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить», — есть жизнь мертвая, то есть и смерть живая. Прежде всего — тех погибших, и поэт по-своему уходил к ним…

Павшего в кромешной бойне подо Ржевом и ТАМ мучает вопрос: «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец?» Горько-пророческое? Не пройдет немногим более полувека, и на ржевском плацдарме через железо и камень станут утверждать немецкую память — плиты, кресты, символический и действительный некрополь. А мемуары немецкого генерала наводнят городок и окажутся среди наиболее читаемых «краеведческих изданий». Всей-то ужасной правды, всей полноты трагической картины ни немецкому, ни русскому, ни всем, сколько их было и есть, генералам не передать. Погибшие есть погибшие, и едва ли кому по-человечески непонятен немецкий мемориал. Но когда он вырастает на той же земле, где вокруг, в болотах — полегшие и незахороненные советские полки, здесь уже вопрос — не кто был храбрее, доблестней, но чья память вернее и честнее.

А тогда Прасолову у памятника на Задонском шоссе невольно вспоминались слова Твардовского — «Наша вечная слава. Кто завидует ей?» Вечная? Имена на мемориальных плитах — бессильные имена погибших, медленно и неумолимо уходящих в забвение. Бетонно-бронзовый мемориал не мог дать бессмертие. И вечный огонь, будь он и с заглавных букв, всего лишь огонь, взятый у ближнего газопровода. Что ж, наверное, у памяти должны быть и сущности, и символы, пусть даже и неудачно найденные.

Иль проходит по ночи
Запоздалый трамвай?
Жизнь покоя не хочет,
Что же, сердце, вставай!
Сердцу нужно на ощупь

Встретить чью-то ладонь.
Первый встречный средь ночи —
Это Вечный Огонь.

Не однажды он слышал мрачноватую сентенцию. Дескать, ничего-то в мире нет вечного, разве что тюрьма — вечная: нерушимо существует, пока мир существует. А что за вечный огонь, который — из трубы, который можно перекрыть поворотом задвижки? Огонь звезд, солнечный огонь — так даже пранаучальному когда-то придет конец.

У памятника Славы на Задонском шоссе поэт, случалось, оставался до утра. Будто здесь обретен еще один квартирный угол — без стен и крыши. Под небесным пологом. Пространство, уходящее в бесконечность. Но и — остановленное городской окраиной. Имелись скамейки и бревна, приспособленные под скамейки. В поздний час изредка забредали сюда влюбленные, мимо памятника проносились машины, и ночью не замирала здесь жизнь.

И все же окраинная городская пядь несла на себе зримую печать гибели и смерти. Эти мемориальные столбцы фамилий. Эти братские захоронения сибиряков, защищавших Воронеж. Поэт знал, что в Сибири есть и в тоске изошли деревни, куда ни один фронтовик с войны не вернулся. Ни один мужчина — отец, сын, брат; и могла являться мысль, что на окраине Воронежа — братская могила Сибири, в сибирском же далеке неисчислимо лежит инфернальный лесоповал — небывалый прежде скорбеносец корневой России, жестоко вырубленной в двадцатом веке.

А через дорогу наискосок от памятника Славы — Коминтерновское кладбище. Главный воронежский погост. Скорбные десятины земли, вечный покой погибших и умерших. Впору было подумать, что здесь самый верный уголок для уединенного часа каждому, в чьем сердце еще живет жизнь, но и уже поселилась смерть. Печальная, искренняя, необманная пядь.

Это позже северный выезд из города увенчает апофеоз местной безвкусицы, странное противостояние памятнику Славы — красная звездоносная пирамида со строем двусмысленных красных фонарей… как ярко накрашенная его соседка с какой-нибудь авангардистской картины. А на Коминтерновском кладбище вырастут не только аллея погибших в войнах, не только аллея усопших почетных граждан с могилами художника Криворучко, писателя Троепольского, певицы Мордасовой… Под печальной сенью кленов и берез, на скамейках скорби и памяти,

дарительницы любви в немалом числе станут услаждать всякого рода искателей острых ощущений; словно бы после коллективной читки платоновского «Чевенгура» — той его сцены, в которой не обделенный цинической утонченностью и томимый мыслями распада и смерти «герой» соитие с понравившейся ему женщиной совершает на могиле своей матери.

Когда Прасолов в лето шестьдесят шестого жил здесь, в частном домике у кладбищенской ограды, нередко заглядывал он и на кладбище. И как навязчивую, но дорогую мелодию повторял — «У забытых могил пробивалась трава…» — начальную строку одного из ранних блоковских стихотворений. Теперь еще строка все того же блоковского стихотворения произносилась им десятки раз, словно бы, повторяемая, давала будущность человеку, живущему без тяги к будущему, — «Только здесь и дышать, у подножья могил…» Что ж, более всего у могил чувствуешь свою ответственность за себя и за всех, здесь очищаются душа и совесть, здесь и вспоминаешь ушедших, и думаешь о живых.

Удивляющий штрих. Почти в том же возрасте, что и Блок, в двадцать два года Прасолов пишет стихотворение, родственное блоковскому, через смерть утверждающему жизнь, смертью преодолевающее небыть.

…Пройду по памятным могилам,
И снова здесь, наедине
Предстанет мир живым и милым —
Открытым мне.
И смерть провозгласит рожденье…

Откуда у него, взращенного в атеистической государственной реторте, это «Дай Бог нам…», это «и смерть провозгласит рожденье…» — высокорелигиозное, истинно христианское?

Разумеется, мысль о смерти как переходе в жизнь вечную — не новейшее откровение. Естественная у отцов церкви, у религиозных мыслителей, она явно занимает и художников двадцатого века, не говоря уже о философах, поэтах более ранних, неатеистических времен.

Прасолов однажды приезжал в Острогожск, и не затем ли, чтобы вчувствоваться в духовный окоем, прежде всего, Станкевича, побывать на земле, где мыслитель-поэт рос, учился, работал. Именно — Станкевич. Иначе Прасолов нашел бы что сказать о встрече царя Петра и гетмана Мазепы на берегу Тихой Острого щи, о Рылееве, о Крамском… О Станкевиче, который чувствовал «глагол небес», который писал, что «глагол пронесется — он мертвых разбудит», Прасолов не мог не думать: в слове

мыслителя-поэта из Острогожска он видел начатки того, что с неповторимой художественной выразительностью и глубиной явлено в творчестве любимых им Боратынского и Тютчева. Когда же Станкевич пишет: «…Жизнь ведет ко гробу — быть может, к жизни гроб ведет», — здесь вводное «быть может» меланхолически ослабляет мысль о триединстве жизни — смерти — жизни вечной, но как же эти строки предвосхищают прасоловское — «И смерть провозгласит рожденье!» У Станкевича, к месту сказать, уже через год его сомневающаяся мысль обретает ясную завершенность — «Тогда свершится подвиг трудный: перешагнешь предел земной — и станешь жизнию повсюдной, и все наполнится тобой». Станкевич — человек религиозной страны Прасолов — страны атеистической. Государственно-насильственно лишенный веры, но чающий веры!

И многих, даже и не только живших в сфере чистой веры, Бытия Вечного, Прасолов не имел возможности прочитать. Переклички, смысловые совпадения — интуитивные. Душевно, сердечно, художественно интуитивные.

Часто бывая на Коминтерновском кладбище, он едва ли знал, что в его густых чащах ненаходимо затеряна могила Платона Климентова, старший сын которого Андрей Платонов — не только в «Ямской слободе», «Чевенгуре», «Котловане», но даже в записных книжках наметит глубокие образы, мысли, живые для всякого времени. Платоновская запись: «Для истинной жизни… недостаточно только однажды родиться, нужно еще чуть не ежедневно возрождаться» как преемственная повторяется в прасоловской строфе: «Пусть над нами свет — однажды, и однажды — эта мгла, лишь родиться б с утром каждым до конца душа могла».

У кладбища, у памятника Славы на Задонском шоссе, поэт невольно думает о том, как часто и обыденно смерть если не владычит в его строке, то овевает ее своим темным крылом. Разбойный нож обрывает юную жизнь. В таежном лесу, от взрыва спасая лося, жертвует собой запальщик. В катастрофе гибнет летчик. В больнице умирает еще не старый человек.

Смерть — как исход грозы, бездны, катастрофы — во всем. Но что за нею? Небытие? Или Инобытие? Новое рожденье, однажды почувствованное им? Природа тоже, как живое существо, как собака, «переэханная скатом», постоянно умирает, погибает. Но и постоянно возрождается.

Человек в прасоловском поэтическом мире — сын природы. Он сам как бы и корень, и стебель, и лист. Чутко вбирает в себя разлад и боль. Чувствует самые малые вздох, порыв, движение природы. Чувствует, как «корявое дерево пело», как «ствол

прохладный телом братним прижимается к плечу»; гибельно настигнутая преждевременным морозом полоса берез для него — что погребальное шествие; его не может оставить равнодушным «новорожденных листьев дрожь немая»…

Пантеистическое, без наивного и кровью пропитанного языческого культа восприятие мира — признак души поэтической. Разумеется, не всякий пантеист — поэт, не всякий поэт — пантеист, но именно слитноприродное начало человека, внутриприродное чувствование и видение не однажды и не в одной нашей словесности являло художественные, философские образцы поразительной глубины и красоты.

Двадцатый век сломал извечное двуединство природы и человека. Двадцатый век во всеоружии прогресса пересотворил, где ему только удалось, землю Творца, разрушительно «преобразовал» исторические горы, леса, реки.

Из мира ушла тишина.

«Тишина» в стихотворениях Прасолова — более других употребляемое слово. Как и у Платонова в поэтическом сборнике «Голубая глубина», название которого нечаянно, но словно бы внутренним цитированием промелькнет однажды в прасоловской строке. «Тишина» — любимое слово у обоих. Но мир обоих — вне тишины.

«Спокойно накреняются созвездья» — у Прасолова это, быть может, единственное, однажды увиденное спокойствие. Спокойствие-мгновение. А так — ветры, ливни, бури, ураганы… А так — «Как полчища в гневе — леса, с лицом перекошенным — воды…», «И солнце таращится дико…», «А в черной туче дремлет не потоп ли?…»

«Разгаданы тайны людьми — На благо земле иль на гибель?» — мужественный и тревожный вопрос. Но не в пример (и весьма проникновенным и проницательным) поэтам — уроженцам и певцам деревни и природы, Прасолов, видя железную поступь прогресса, обычно не дает накрыть себя ностальгической волной, влекущей в патриархальное.

Железная дорога — и реальность, и метафора человеческого пути, начатого с отчего порога и длящегося на скоростных магистралях. Поезд — создание человеческого разума — мчится «словно праздник, где окна все освещены», мчится через страну и природу; перед ним «лес расступится и дрогнет», но птицы «от грохота качаясь», песен своих не прервут. Поезд не угрожает птицам, самолет — звездам.

Выросший в атеистической стране, но рядом с верующей матерью, уйдя от молитвы, поэт спокойно, без испуга, без восторга, смотрит на материалистский прогресс, хотя и не без

горечи видит, что тот, неся внешние удобства, комфортное существование, с корнем, с кровью выдирает из чрева природы что-то изначальное, сущее и оставляет свои железные, бетонные стигматы на теле земли. Отнюдь не стигматы духа. И часто в безоглядном прогресс-беге чем ни больше цивилизации, тем меньше культуры.

Здесь, на окраине крупного города, которому прогресс раздвигал границы, наращивая его железом, стеклом, камнем, здесь в осенний, с холодным ветром и небо застящим вороньем пасмурный день, при виде бетонных многоэтажек, выросших в недавнем поле, поэт напишет на одном дыхании:

Осень лето смятое хоронит
Под листвой горючей,
Что он значит, хоровод вороний,
Перед белой тучей?

Воронье распластанно мелькает,
Как подобье праха, —
Радуясь, ненастье ль накликает
Иль кричит от страха?

А внизу дома стеснили поле,
Вознеслись над бором.
Ты кричишь, кричишь не оттого ли,
Бесприютный ворон?

Где проселок? Где пустырь в бурьяне?
Нет пустого метра.
Режут ветер каменные грани,
Режут на два ветра.

Из какого века, я не знаю.
Из-под тучи белой
К ночи наземь пали эти стаи
Рвано, обгорело.

Какая временная, пространственная необозримость, но и замкнутость — эти вороны, посланцы из далеких столетий, вестники ненастий под долгим ветром, и эти каменные грани, которым ни ворон, ни ветер — не указ и не эхо тревоги.

Никогда у Прасолова не было страниц в жанре сугубо историческом. Но и никогда он не бывал глух к эху Истории, к судьбе былых племен, былых поколений, кроваво-пыльным

дорогам их страданий, жестоких побед и поражений. На погосте прошлого «не враждует прах с безгласным прахом», ушедшие молчат и все же непостижимым образом взывают: «Мы жили в мире — не забудь!» И, перелистывая свою жизнь у древнего кургана или недавней могилы, человек возвращается к людям не таким внесочувственным, безлюбым, беспамятным, каким был прежде, но возрожденным для любви и памяти.

Поэт и в природе обнаруживает тоску по умиротворенности, покою, усталость от вечных бурь, и в нем самом — сострадание и даже смирение, ранее казавшееся пережиточно-унизительным. На последнем году жизни он пишет непривычно щемящее стихотворение — элегию осеннего, на тленье обреченного листа.

Тут — живая боль, лист под тяжестью дождевых капель — словно чувствующее свой исход сердце, лист — гибнущая вселенная.

Листа несорванного дрожь
И забытье травинок тощих,
И надо всем еще не дождь,
А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,
И вот, почувствовав их тяжесть,
Рожденный там, на высоте,
Он замертво на землю ляжет.

Но все произойдет не вдруг:
Еще — от трепета до тленья —
Он совершит прощальный круг
Замедленно — как в удивленье.

А дождик с четырех сторон
Уже облег и лес, и поле
Так мягко, словно хочет он,
Чтоб неизбежное — без боли.

Косые дождевые струи соединяют небо и землю. Дождик скрывает человеческое устроенье: в его завесе большой город — как сизый призрак. Может, и лучше, что в нужный час скрывает: не все, что видишь, радует. «И наблюдал людское племя, и, наблюдая, воскорбил», — вспоминаются поэту слова любимого им Боратынского.

Нет, никогда он не напишет модных строк о «черной дыре», о «горизонте событий»: у него свои бездны и горизонты. Он

неверующий, но и генетической памятью верующий, он надеется, что сыновья поверят.

Как ни ломает жизнь, но его Задонское шоссе — не шоссе энтузиастов. Он искренен и честен. По крайней мере — перед своей музой. Перед русским словом. Разумеется, и перед родиной — тоже.

Упор на устремленность поэта, его строки в запредельную высь, в надмирные пространства вольно или невольно делает как бы несущественным и малосильным его чувство родины, слитности его судьбы с судьбой народа. Но он чувствовал родину во весь ее временный срез — от княжеских годин до советской эпохи. У него нет стихов, прямо вопрошающих русское прошлое. Или же его отображающих. Но есть стихотворение «Россия», в котором строки — «Земля моя исконная! Стратеги и правители Вчерашнюю не поняли. Грядущей не провидели» — проясняют историческую драму родины.

«Бьет мне в душу свет России» — начало шестидесятых.

«…Как этот флаг, кровь — государственного цвета» — начало семидесятых, за год до ухода из жизни.

Прасолову не было и пяти лет, когда Томас Вулф, «этот русский из Северной Каролины», в заокеанской писательской аудитории высказал мысль о том, что открыть свою родную землю по-настоящему можно тогда лишь, когда на время покинешь ее, посмотришь издалека. Прасолов не только не поглядел родную землю из «прекрасного далека», он и самой-то России не исходил, не изъездил. Но он «открыл» свою Россию честно и безошибочно — силами своего сердца, духа, памяти.

Пульсируя кинжальными просверками бортовых огней, над Воронежем, над Задонским шоссе пролетали большие самолеты, и, в какую даль ложился их курс, поэт уже не хотел знать. И никуда не хотел лететь.

Аэропорт теперь был далеко за городом — мощный, представительный, не похожий на старый — «домашний» и навсегда памятный Прасолову полетами на местных авиалиниях. И навсегда закрытый.

Аэропорт перенесли,
И словно изменился климат:
Опять здесь морось, а вдали
Восходят с солнцем корабли.
Я жил как на краю земли —
И вдруг так грубо отодвинут.

Отодвинут? Ощущение реальной отодвинутости — в общей неустроенности: быт без быта, болезнь без надежды на решительное выздоровление. Осенью — снова больничная койка в городском тубдиспансере. Быт и быть — рядом.

Горестное признание — «как в эмиграции: людей тьма, но все — по себе».

И все же есть уголки, где его рады видеть, слышать. И в перерывах между больницами он идет туда.

В пасмурный сентябрьский день он приходит к главному редактору Центрально-Черноземного книжного издательства Александре Жигульской, которая тонко и верно чувствует поэтическое слово и которая высоко ценит прасоловский талант. В крохотном кабинете на третьем этаже они долго беседуют о литературе текущей и сходятся на том, что писатели, подчас даже из серьезных, не смеют, не умеют или не хотят говорить о главном в жизни. Народная судьба — перед их глазами и сердцами, а они — словно зашоренные или же предпочитающие видеть парадно-пышные клумбы в солнечный час.

И вдруг Прасолов, вне всякой связи с предыдущим, по-детски доверчиво, наивно и не без горечи переводит разговор на себя и свое будущее. Дескать, живет в деревне крестьянка-мать и знать не знает, какой у нее гениальный сын; а узнает лишь тогда, когда он уйдет из жизни. Скоро уйдет. И не дав возразить, добавил, что, если бы и не пожелал уходить, так все равно помогут уйти…

И так же вдруг, здесь уже повторяясь, стал рассказывать о случае, который «оценщики» серьезных имен и всякого рода событий сбросили с языка и пустили по городу как некий литературный казус, коллективную хмельную шутку-пьеску троих друзей. Какие друзья у одинокого? — мог бы возразить Прасолов. Друзья детства и наставники юности — да, но они далеко от Воронежа.

И снова главный редактор, женщина, перед эмоциональным и умственным взорами которой за последнее десятилетие прошла едва не вся литература большого края (как серьезно-психологическая, так и приключенческая, детективная), выслушивает «утопленническую» исповедь. И река не глубока, да глубока, когда ночь темна и хмель темен. И один — не родня двоим.

Красноречивый штрих. Историю с ночным принудительным купанием поэт вскоре излагает вновь. На этот раз — писателю Евгению Титаренко. Вновь возвращается на темную ночную реку Воронеж, где его сталкивают с лодки…

(Много позже поэт Виктор Поляков, искренне сокрушаясь, рассказал мне про ту летнюю ночь на

реке, но несколько иначе. Хмельны в равной и не сильной мере были все трое — и Алексей Прасолов, и Павел Мелехин, и Виктор Поляков. Может, ничего бы и не случилось, если бы в зашедшем разговоре-споре о писательстве двое не стали расхваливать шумливого и многопишущего столичного стихотворца. Прасолов не без язвительности посоветовал двоим поспешить в Белокаменную, да в парадных ботиночках поспешить, дабы коснуться фалд столичного «храбреца». И тут же, стоя на корме лодки, резко обрушился на «орден интеллигентствующих», в котором вольготно живется-пишется интеллигентам либеральным и революционным, советским и западным.

Про «орден интеллигентствующих» — можно верить. Здесь вспомнишь и сон, какой однажды приснился Прасолову в бытность его в Репьевке и, видимо, поразил его, поскольку даже зафиксирован в дневнике: «Какая-то орава интеллигентов швыряла в меня яблоками».

«Орава интеллигентов» — это, разумеется, не народные ителлигенты-просветители, земские врачи, учителя, агрономы, инженеры, провинциальные подвижники культуры. Это та мифотворящая, фрондирующая, жирующая публика, от которой гневно отшатнулся Блок; это интеллигентствующая публика, которую Бунин назвал — «Подлое племя, совершенно потерявшее чувство живой жизни, изолгавшееся…»; это бал агрессивных и сытноблагополучных, какого сторонились многие честные писатели — от Чехова и Булгакова до Бродского и Даниэля. Да и раньше, и позже.

Это та «интеллигент-привилегент-образованщина», которой всегда ненавистен «дух вандейского навоза», чужда народная боль и которая в старых ли, новых ли, сверхновых формах всегда готова «заявляться», провоцировать безответственные идеи и лозунги, лукавить, предавать, взбираться на танки как на подмостки эстрады, хвататься за «автоматы свободы», подписывать угодливо-расстрельные письма ко всякой власти, какой бы неумной и бесстыдной ни была последняя.

Поэт стоял на корме лодки, раскачиваемой все сильнее и резче…)

В последнюю осень Алексея Прасолова чаще, нежели кто-

либо, навещает Евгений Титаренко. Его родная сестра Раиса — через пятнадцать лет Раиса Максимовна, первая леди государства — была замужем за Михаилом Горбачевым, тогда еще провинциальным партийным секретарем. Но и когда Горбачев станет генсеком, в жизни писателя Титаренко мало что изменится, разве что приглядывать за ним будут многоглазо, «оберегая», дыша в спину, опасаясь, чтобы он не наделал чего громкого, из ряда вон выходящего. Но тогда, в последнюю прасоловскую осень, он был вполне свободен. Он уже опубликовал хорошую, грустную, мужественную повесть «Минер», писал и далее. Но и пил — сжигал себя, не жалеючи. И было в нем братски роднящее его с Прасоловым.

На несколько недель Титаренко, упрошенный Прасоловым, перебирается в дом по улице Беговой, в квартиру номер шесть, угрюмую, как палата номер шесть. Своим участием и словом скрашивает поэту его неприкаянное постылое житье-доживание.

Было переговорено — так говорят разве зная, что скоро истечет последний час. Говорили о разительно меняющемся мире и о стране, которая словно бы приостановилась, раздумывая, как быть дальше. Говорили о высоких именах — Кольцове, Бунине, Платонове, одинаково дорогих для обоих. И о местных литературных нравах — тоже. Разумеется — и о женщинах.

Тягостный час. Поэт, не жалуясь, с горечью признается, что для встреченных им и ставших ему близкими женщин он не может и не хочет найти высокого слова. Но ведь это слово у него уже найдено! — изумляется писатель. Поэт произносит немногие женские имена и говорит о них отсутствующе — как о чужих. Звучит тем горше, что звучит в беспощадно трезвом состоянии. Что здесь? «Здесь только правда тяжко дышит»? Или осень так тяжело действует на него? Болезнь? Даже не предчувствие, но ясное видение своего конца?

Давно и походя обронит он однажды про свои как бы антиплотские ощущения в молодости: «Я ненавидел сугубо выпирающее женское тело». И скажет это именно женщине, мало заботясь о том, что его признание не самое изящное и комплиментарное, во всяком случае, не из тех, какими непременно надо делиться именно с представительницей слабой и прекрасной половины человечества.

Между тем от матери поэта можно было не раз слышать о юношеской влюбчивости ее сына — мол, не то что в зацветшую вишню, а и в сухую грушу мог влюбиться.

Но жизнь испытывала и душу, и тело. Осенняя, 1965 года, запись в его дневнике: «К черту все!.. Буду волочиться за девками, а не писать скушные стишки!..» — конечно же, настроение

малопрасоловское, точнее, вовсе не прасоловское; минутное настроение, нечаянно слетевшее с кончика пера.

Многие, да и Титаренко, были свидетелями тому, как Прасолов шел по главной городской улице. Словно по безлюдной дороге. Навстречу — красивые женщины, причудливый живой, движущийся цветник, но он не замечал, думая о своем.

«Все женщины ведут в туманы»? — Цветаева, разумеется, знала, о чем говорила. Но колдующе высказанное — в один цвет, а разговор здесь — никогда не полный и никогда не закончится. И от женщины — женственность. И материнская верность, и сестринское участие, и невестина красота и чистота. А женскозвучащие муза и любовь?

Муза и любовь овевают. В прасоловской поэтической строке — любовь строгая и высокая, здесь «предельная чистота», которая побеждает и искупает на земле человеческую пошлость. Здесь «руки женские — лучи», здесь «доверчивость нетронутой души», здесь «праведные слезы»… Велика «очистительная власть» жертвенной любви, побеждающей эгоистическую влюбленность. Никуда не деться — есть и «обреченная ночь», коль не уходят и не уйдут эхо тревоги, тень беды, гул бездны.

Нет, не изменил он завету Блока, слова которого о сущности поэта истинного сопутствовали ему всю жизнь, — «Он весь — дитя добра и света. Он весь — свободы торжество!»

Три последних месяца Прасолов чаще в больнице, реже дома. Пишет мало, больше вспоминает, размышляет. И словно то узкая, то широкая дорога его жизни — его времени, густо заполненная людьми, машинами, предметами, серьезными и пустыми встречами, сценами, книгами, вернулась вспять. И он, не имея возможности ничего на ней отменить, переиначить, отвести от себя, все видел и переживал снова.

Зачем ему, казалось бы, Гельдерлин? Далекий, отвлеченный, даже соотечественниками малознаемый поэт, поскольку не о германском начале писал, но об античной Греции, идеальной, по убеждению писавшего, для всех времен. Прошлой осенью в книжном магазине ему попался на глаза в черном коленкоре увесистый том. И он, не имея рубля, чтобы его приобрести, за каких-нибудь полтора часа успел пристально его перелистать, выхватывая для себя нужное. И теперь лежащему на больничной койке, ему обрывочно явилось прочитанное. И гордынный мыслитель, поэт и государственный деятель Эмпедокл из одноименной гельдерлиновской драмы, восходящий на вулканическую гору и бросающийся в огненный кратер Этны (высь и бездна!); и сам Гельдерлин, хрупкий, болезненный, десятилетиями живущий отъединенно от всех, с помраченным

сознанием, с несчастной «смещенной» душой; почти четыре десятилетия в маленькой мансарде, без пера, без разумных занятий, без памяти!

Кому-то мансарда, кому-то подвал. Кому — поле чистое, кому — палаты каменные. Да все едино — лучшие или находят себе стрелу, пучину, ядовитую чашу, пулю, веревку, или же съедает их скорбь и болезнь.

И вновь, и вновь с едва выносимой болью в сердце думал о Твардовском, смерть которого и его надломила так, что уже трудно распрямиться. Чтобы приглушить тягостное, он пытался читать овеянного уверенностью победы «Василия Теркина», но почему-то невольно шло на память — «Я убит подо Ржевом»…

И благодарно, но и мучительно думая о Твардовском, давшем народу «Василия Теркина», «Родину и чужбину», «Дом у дороги», а ему — всесоюзное имя и окончательную уверенность в себе, Прасолов не мог не думать о Родине, о ее тревожном будущем. И много горького было в его раздумьях о Родине, истерзанной нашествиями, войнами, смутами, революциями, всякого рода переломами и переделками, хотя, скорей всего, он чувствовал, что есть и предстоит что-то более значительное, нежели общественные потрясения, упования и свершения, что-то особенное, высшее, что скажется на судьбе России окончательно.

Александр Твардовский, поэт истинно народный, дал образы человека, дома и родины в их естественном бытовании, в их трагических и героических началах. А что у него — о родине, о жизни, о мире? Пусть — немногое. Но — сказанное честно и никому не в угоду. На шумном подиуме — искусно вертящиеся стихотворцы, готовые ставить свечку и ангелу, и бесу, пишущие обо всем и вся, то восхваляя, то отрицая, а то и вовсе измываясь; они — как ложно зажигающиеся семафоры, пригодные ослеплять и морочить доверчивых.

А круг — все уже. Редкие письма к жене. Их тягостный, не оставляющий надежд смысл темным ветром, опасными сполохами пришел издалека: он есть в стихах, дневниках, письмах пятилетней, да и ранее, и ранее давности.

«Мне некуда больше лететь…»

«Через месяц мне 35. Холодно, пусто…»

«Сколько в жизни неблагополучия!..»

«Видел (сон) — часы мои стали…»

«…призрак Смерти прошел надо мной».

В последних же письмах — прощальное, гибельное до молчаливого крика. Словно бежит огонь по бикфордову шнуру! И уже не дотянуться, не пресечь. Невыносимо читать это: будто связанный, ничем не могущий помочь, ничего не могущий

поделать, стоишь на кладбище, где ему, живому, роют могилу.

> «Мое послебольничное будущее — без будущего. Вот что не страшно, а просто обрывисто. Вот и все. Моя никчемность на свете уже настолько осознанна, что я явственно вижу: как я в последний раз вхожу к этим сволочам с этим вопросом — нужен ли я? — как выхожу от них, от этой партийной слизи, без отчаянья, без нужды уже в людях и в жизни. Остальное — дело секунды…»
>
> *(20 декабря 1971).*
>
> «Освобождение, а не приспособление к скверне этой жизни. Здесь хоть кого сломят…»
>
> «**2 января 1972 г. Больница. Воронеж**.
>
> …Все, что впереди, лишено смысла. Я вряд ли пробуду здесь столько, сколько нужно для излечения, ибо другое уже неизлечимо — сознание именно бессмысленности существования — больного или здорового — все равно.
>
> Ждать мне нечего, торопиться тоже некуда — пусть все идет своим чередом — ни помогать, ни мешать не надо…»

Остается — ровно месяц.

«Я умру на рассвете В предназначенный час». Но час назначает Вседержитель. Когда же человек сам обрывает Богом данную жизнь, он выбирает обычно не утренний рассвет, но пасмурный день, а то и вечерний сумрак. Но не во временных градациях суть. «Я умру в крещенские морозы», — Рубцов предсказал, и уже свершилось.

Мартиролог русской словесности трагически перетекал из девятнадцатого в жестокий для России двадцатый век. Нигде и никогда не бывалая прежде мемориальная поэтическая плита, Русская плита: Константин Фофанов, Александр Блок, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Алексей Ганин, Павел Орешин, Сергей Клычков, Владимир Маяковский, Павел Васильев, Николай Олейников, Борис Корнилов, Сергей Чекмарев, Василий Кубанев, Дмитрий Кедрин, Георгий Суворов, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Шубин, Алексей Недогонов, Алексей Фатьянов… И недавно — Дмитрий Блынский (из прасоловского дневника: «Стихи Д. Блынского. Судьба его — вторая беда Руси»). И совсем недавно — Николай Рубцов. И после ухода Алексея Прасолова,

несколько месяцев спустя, — Дмитрий Голубков, покончивший с собой в час душевной подавленности.

Никто не прожил и полувека. Кто взят войной, кто — бедой, и все — «злою ведьмой — судьбой», кольцовскую строку вспоминая. Многие не дожили и до сорока, и многие — крестьянского корня.

(Какой рок избрал эту квартиру под недобрым номером 6? Друг моей молодости, уездного склада человек, зачем-то перебравшийся из глубинки в Воронеж и «определенный» именно в эту квартиру, литературно одаренный, редактор с Божьей искрой, тоже потянулся к черной чугунной рогатине трубы у потолка — пятнадцать лет спустя после ухода Прасолова.)

В тот день — последний свой день — поэт пешком прошел от Кольцовского сквера до Петровского. Без обычного резкого шага. Словно прощаясь. С почтамта отослал в Москву письмо — воспоминания о Твардовском. Затем поднялся на пятый этаж Дома книги — в редакцию газеты своей молодости. С ответственным секретарем «Молодого коммунара» поэтом Станиславом Никулиным беседовал, прислонясь к набитому бумагами и фотоснимками шкафу, не пожелав присесть. В первый раз не предлагал свои стихи. Но говорил, говорил. И то, о чем и как говорил Прасолов, — весомо, ясно, спокойно, — не предвещало ничего страшного.

В вечеру он вернулся в холодную квартиру на Беговой.

Он никогда не заслонялся от трудного, тяжелого, испытательного. От того, чем жили люди вокруг. Но все чаще в одиночестве был, даже когда был не один.

«И никогда я не мог в ногу…»

Одинец, стерх, альбинос, он и в компании одиночествовал. Одиночество не столько житейское, сколько духовное? Скорее всего — и житейское, и духовное.

Он аристократ крестьянского рода. Аристократ не манерами, но духовной устремленностью. Правда, он не находил большого и истинного смысла в словах «аристократия», «демократия», считая их приблизительными, подмененными, опошленными политическими бранями и интригами, и сам называл их разве в противовес охлократическому натиску.

О власти Прасолов рассуждать не любил. Не для того даются встречи. Но убеждение на сей счет имел твердое и выразительное. Власть моды, рекламы, толпы, мнения, преуспевающего в элитарной среде, еще пошлее, чем официальная власть: если одна ущемляет свободу человека, то другая — душу; а часто — и

свободу, и душу.

«Сильные мира сего», политики, временщики мало занимали его. Своим невниманием он словно подчеркивал действительную незначительность их, зависимость их от принятых игровых правил, от закулис и химер, от финансовой паутины. И когда кто-либо из знакомых затевал разговор о политической фигуре имярек, он коротко обрывал: «Давай лучше поговорим о Пушкине». Иногда назывался Тютчев. Иногда — Блок.

Но вовсе не замечать политики и власти не удавалось: они являлись частью той силы, которой надобно было держать народ и человека в замкнутом круге.

Была ли иная возможность разорвать круг? Раздвинуть теснину, выбраться из котлована, уйти от среды и череды подмен, где часто искусственные оценки значат больше, нежели истинные ценности?

В платоновском «Котловане» человек «тихим шагом скрылся в поле… не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств». То в книге. А в жизни? Одному, другому, десятому судьба улыбнется — подхватит на свой благополучный корабль. Благополучный и бескрылый. Но как быть народу? Ему задаются «безумные обстоятельства», он преодолевает их. И попадает в новые, не менее безумные. И как быть тебе, чуткому сыну своего народа?

Если умолкают в душе глаголы жизни, начинают голосить глаголы смерти. Созданный в молодости «Обреченный корабль» был далеко. «Обреченная ночь» — это уже ближе, это в чем-то и его обреченная ночь. Поэт не имел обыкновения предварять свои стихи названиями, а тут трагическое, безо всякой надежды слово дважды врывается в заголовок. Обреченность и далее взмахивает крылами, предвещающими конец, пока однажды холодное отчаяние не диктует: «Обреченному свет ни к чему».

Сказать и так: здесь альтер эго поэта, двойник, наконец, лирический герой — приблизительное литературоведческое определение. «…Как обреченного, его на исповедь позвали», — о двойнике своем говорит сам поэт. Но любые двойники, альтер эго, лирические герои — вторичный ряд, им не родиться и не жить без отца-поэта, его чуткого сердца.

Поэт идет один, муза его одинока, и только солнечные лучи отечественной классики, словно светоносные столпы, освещают его путь.

Ему приходится надеяться прежде всего на себя. «Спеши — последним светом я в бездне исхожу» — к кому и зачем это призывание спешить? Чтобы помочь? Или, скорее, чтобы только увидеть миг драмы? Ибо помочь — уже нельзя. Ибо — «…Я ищу

опоры в бездне, окружающей меня». Выходит, и бездна — жизнь, схватиться бы руками за колкий режущий воздух…

Есенин сказал, что он последний поэт деревни. Сказал в двадцатом году двадцатого века, когда крестьянский мир был разворошен и вздыблен, но еще велик численностью народа и деревень, внутренней крепью.

Прасолова же голос — голос с крестьянского пепелища, поэт — очевидец конца крестьянского мира. Русского крестьянского мира. Но исходы прасоловской трагедии не только социальные и национальные. Но и более всего духовные.

Прасолов видит не только кончину деревенского уклада на малой родине, не только русское пепелище, но и грядущие катастрофы земного мира, смерть солнца, жатву бесконечных времен.

Он поэт «неотвратимости ночи», поэт грозных всполохов, ее предвещающих. «Чтоб не ослепнуть на земле», он наказал душе прозреть в небесных сферах мирозданья, и она побывала там, но увидела ли то, что должна была увидеть? Чтоб благодарно просиять?

Каков размах! Словно некий фантастический покоритель земли и неба походя совершает нешуточные свои дела или предписывает их, или же объясняет — «Сближаю небо и звезду»; «Руками раздвигаю вечер»; «Коснись ладонью грани горной»… А хребты и отроги — всего лишь «грандиозный слепок того, что в нас не улеглось».

И за такое дерзкое мирочувствие, то ли язычески-былинное, то ли технократически-обезбоженное, надо было держать ответ. Ответственный за каждое слово, он и готов был держать ответ. Но — «отчитаться перед Богом» в обезбоженном веке?..

Он отчитался сердцем.

Так рано. Так неумолимо. Полагающееся ему земное время, не до конца прожитое, отдав смерти и жизни иной. А время он чувствовал постоянно и тревожно. Удар сердца — удар метронома. «И с жестокой отчетливостью ощущаешь время, бегущее, как вода сквозь пальцы…»; «Бродил по минувшим временам, и ей-Богу, кроме развалин, там много нашего добра»; «Время — это мы, отошедшие дальше. И все».

Он видел, что время под воздействием технической цивилизации как бы меняется в своем естественном движении: убыстряется, стремительно проносится, словно пространство, когда глядишь из окон взявшего разбег экспресса, когда «нет выхода в мгновенье», как понимают это религиозные мыслители (а ведь «нет на земле ничтожного мгновенья» — об этом еще Боратынский говорил). Но не найти часа, чтобы остановиться,

задуматься, предаться созерцанию родины и мира: и сам человек в жизни — как на конвейере и проносится часто безымянно, воистину захваченный потоком времени.

Но есть время и есть вечность. «Делит жизнь на вечность и минуты тот, кто знает срок свой на земле». Живущего во времени, условно трехчастном, поэт призывает: «Отдай же третьей все сполна, ведь третья — будущее — вечность».

Поэт задыхался без воздуха? Задыхался. Воздух отравлен, и им, отравленным, дышит весь мир.

Умереть от удушья… цивилизации? Выходит, не обязательно, как в известной песне Высоцкого, оказаться в гибнущей, идущей ко дну подлодке.

Задыхался от эпохи, от режима, шедшего железной поступью? Как в пословице: «Лес рубят — щепки летят»? «Обманутые временем» — это уже о другом, и в другом, Западном полушарии сказано, когда Прасолов был еще ребенком.

Но разве не прасоловское — «Земля кругом и мерзлая жива»? Разве не его — «В какие сроки мы смогли подвинуть праведное дело!»? И какой кровью? Вадим Кожинов, серьезный мыслитель, литературовед, историк, высоко ценивший Прасолова и сопроводивший две его столичные книги своими предисловиями, сказал лаконично и жестко: «Тоталитаризм предстает как предельное испытание человека, которое он выдержал».

Прасолов — внережимный человек. У него не было «классовой» неприязни к дворянскому, монархическому, не было и антисоветского плоского фрондерства. Не революционер, не трибун, не бунтовщик, он и не пытался изменить обстоятельства, ибо свободен в духе, а дух — над обстоятельствами. Он идет по дороге, на которой плакаты времени. Но читает он не плакаты, а время.

В контролируемом, кодируемом, зомбируемом мире он свободен, как только может быть свободен истинный поэт в пространстве и времени какой бы то ни было общественной системы или даже химеры.

Не участвуя в боях, избежав земных аварий и катастроф, не бунтуя, не попадая в землетрясения, не обгорая в вулканической лаве, поэт тем не менее всю жизнь — «у самой гибельной стены».

И снова голоса: он задохнулся от советской действительности! Как будто человек, Прасолову по духу родственный, был бы счастлив в райски привольных кущах, если таковые есть? Человек, почуявший изначальную драму земного бытия и даже надмирных, космических сфер, мог ли он быть счастлив в каком-либо ином общественном режиме? Заокеанском — «свободном», «демократическом», «цивилизованном»? В мире

бездуховном и свободном настолько, насколько позволяет ему быть свободным мировая финансовая власть?

«Да, не будет рая, даже здесь „храм“ не наш. И ничего — за горами. Ничего…» — прасоловское: загадочное и бесконечно печальное. Двадцатый век сполна выстроил храм не Духу, но Молоху. Исполинский, тотальный храм. Вторая вавилонская башня. В такой храм истинного поэта не позовут, да он и сам туда никогда не пойдет.

Еще в первой половине девятнадцатого века слышатся предостережения против всеобщей купли-продажи слова. Пушкин — «Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок». Пушкину вторит Шевырев — «Торговля теперь управляет нашей словесностью… Поэзия одна не покоряется спекуляции…». Боратынский видит безнравственную неразборчивость «торговой логики» и, тревожась, пишет:

> «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств… Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного».

Внимательно Прасоловым освоенный Заболоцкий, решительно не принявший НЭП, пишет о маклаке (он же маклер, сводчик, посредник при продаже-купле, прасол, базарник, биржевой плут), пишет как чуть ли не о главной фигуре вселенной, — разумеется, в стиле гротескного снижения и завышения: «Маклак — владыка всех штанов, Ему подвластен ход миров, Ему подвластно толп движенье».

А Прасолов? Рынок, торг, прагматически-синтетический мир, который «… жиреет, наглеет, становится деловитым и деловым до отвращения», — это не для него, и он об этом заявляет не раз. «На ярмарку никогда ни шагу», «Духовное… не для сегодняшнего рынка».

Тотальный рынок, спех и бег, скорость автострад и железных дорог, небо, иссеченное трассами, стрелы — следы реактивных, ушедшие деревни, сияющие города, эхо стрельбы, гул металла… «А мирозданье ищет выход из земного тупика», живущий ищет свой путь, и где и каков он — не нам судить.

Смотрю на лицо молодого Прасолова с пытливыми, строгими, искренними глазами. Глазами, не допускающими даже тени намека на позу, неправду, художественное лукавство. Как

много эти глаза, это лицо обещают, как много выстрадают душа и сердце!

И ни к чему задаваться вопросами — почему равнодушен был к своему житейскому, почему сжигал себя, почему рано ушел.

Ушел он рано, но свой Путь прошел до конца.

И как завещание. Живи на земле так, чтоб видеть Небо!

«Дорога все к небу да к небу…»

Эпилог

Осенний день. Юго-западная окраина Воронежа. Кладбище.

Прасоловская могила — в удалении от печальных входных ворот — в глубине кладбища. Прямые дорожки, разделяющие квадраты, железные контейнеры, забросанные пришедшими в негодность венками, черными лентами, сухими ветками. Под кронами — пестрота оград.

В его ограде — чугунная плита-надгробье, на плите — фамилия, имя, отчество, даты жизни и смерти. В ограде — барбарис, острый, колючий, как образ-символ. Море сосны вокруг. Словно и сосна нездешняя, россошанская, в молодости им и высаженная на россошанских песках, сошлась здесь. В прощальном единении и сошлись. На придонской, воронежской, русской земле. На божьей ниве.

Городские гулы сюда почти не долетают. Редкие машины, тихие голоса скорбящих. Тишина — любимое, сокровенное прасоловское слово. «Дай тихо подойти и тихо назваться именем своим…»

Тишина.

«Ведешь записки, когда жизнь „благополучна“. Но сколько главного, большого осталось без записей!» — эти строки из прасоловского дневника лишь подтверждают, что письменные самосвидетельства раскрывают малую толику жизни и не могут поведать во всей полноте о драме творческой личности — в массе и вне массы, во времени и вне времени, в пространстве земли и неба.

Большая часть жизни каждого человека скрыта и для сторонних глаз, и даже для него самого. В каждом человеке — Вселенная. В талантливом, отмеченном даром Божьим, — тем более. Можем только догадываться, о чем помимо им сказанного мучительно думал поэт, что так и ушло думою, болью — не отданное листу бумаги. Видим большой Путь от проселочной дороги и в беспредельность, но сколько всего и разного было на этом пути, не расскажут и совокупно все, кто поэта знал, — даже объединись они в коллективного повествователя.

Писать книгу о таком человеке трудно. Внешняя сложность — в биографической обрывной краткости, в географической, событийной непротяженности и обыденности. Но есть внутренняя сторона — найти главный корень, почувствовать главный нерв, самое существенное в человеке, может, даже им самим не до конца рассказанное. Но в биографических изданиях подобное — редкость. Прочитай ушедшие, что пишут о них живущие, — иные

бы, наверное, подали голос: «Сожгите книги о нас, это вполне справедливая защита наших посмертных прав!» Пишущие из лучших побуждений, преисполненные отзывчивой чуткости, и они обычно не являют всей глубины ни в понимании драмы творческой личности, ни в понимании драмы самого творчества.

И однако биографические книги были, есть и не прекратятся.

А имена, по духу близкие Прасолову, будут и впредь притягивать. И может — все крепче: чем ни ближе великие катастрофы, тем вернее люди чувствуют приближение их. И тем больше их волнует судьба предвестников катастроф, чаявших гармонии и света, но и видевших грозные знаки конца.

Муза

Лет за десять до ухода из жизни поэт говорил о неясности своего завтрашнего дня, но знал точно: «Одна муза будет скрашивать мою дикую судьбу».

А незадолго до ухода пишет чистое стихотворение «На рассвете». У Прасолова редкие стихи предваряются названиями. Здесь название говорящее: рассвет — пробуждение, восход поэтического начала в отроческом сердце. Мальчик словно бы вдруг увидел окрестный мир непривычным, преображенным. Странная — не веселая, не печальная — захватывает его дума. Ему словно кто-то подсказывает слова, и на молодом снегу он вычерчивает: «Этот снег не белый — розовый, он от снегиря. На рассвете из Березова проходил здесь я…» Проходил да и проходил! Но переполняющие мальчика чувства выливаются в стих, в котором — и радость, и боль. И дерзость, которую пытается в зародыше усмирить некий препятствующий ДУХ.

Стихотворение рассветно-чистое. Но и трагическое. Что ждет отроческую поэтическую душу? В какой ее замкнет житейский круг? Упомянутое выше Березово — реальность: главное село Березового района, а район — с двумя тюрьмами, где выпало испытать неволи и Прасолову, и, быть может, еще не одному, пусть из безвестных, но награжденных даром видеть мир поэтически.

Разумеется, муза может являться человеку, независимо под каким небом, солнечным или пасмурным, независимо, где он находится — в чистом поле или за колючей проволокой. Муза забирает поэта полностью, поэт и не противится ее ревнивой власти. «Уходи, я с ней один побуду», — такие слова, надо думать, едва ли в радость возлюбленной, другу, кому бы то ни было из близких, но тут ничего не поделать: диктует муза. Заболоцкий, внимательно и благодарно прочитанный Прасоловым, остро чувствовал этот диктат: «И куда ты влечешь меня, темная грозная муза, по великим дорогам необъятной отчизны моей?» Она, как душа: единственна, неповторима в каждом носителе поэтического. У нее есть друзья, недруги, попутчики, есть злоба дня, но и величавая вечность.

Музе непосредственно поэт приносит, словно дань, посвятительные строки. В ней, музе, в ней, поэзии, — и незримая сила, и тайна, и ясность. Поэзия уводит в даль, кажется, что на ее необозримых полях можно в избытке взять доброй свободы. Поэзия повелевает взойти столь высоко, что свет видишь так, как видят только в смертный час. Но это одна ее ипостась. Должно

отдать житейскую свободу, как только она является. Вознесение с нею к «солнечному входу» требует великой цены. Муза не дает обольстить себя словесными побрякушками, ей надобно слово — «судьбой рожденной твоей».

В поэте всегда есть некий доверенный посланец музы, таинственный двойник — или дремлющий, или бурно вдохновенный. И когда он вдохновенен — в нем всегда «чувство дали». А что за даль, и как слово отзовется — он не ведает: «И сам он думает едва ль, что вдруг услышат близь и даль то, что сейчас он шепчет».

Ревнива муза, ревнивы и поэты, когда о ней речь.

У Боратынского нераздельное — «Любовь камен с враждой фортуны». И дабы вечерний час выдался мирный, тихий, спокойный, от музы ласковой отрываться приходится мучительно.

Некрасов однажды горько сетует, что рука его «у лиры звук неверный исторгала», хотя он — не из торгующих лирою.

Есенин о «милой лире» своей пишет: «Я не отдам ее в чужие руки, ни матери, ни другу, ни жене. Лишь только мне она свои вверяла звуки и песни нежные лишь только пела мне».

Твардовский был убежден, что «вся суть в одном-единственном завете» — сказать свое вызнанное, выстраданное слово, не передоверяя его никому, даже Льву Толстому.

Анатолий Передреев в одно время с Прасоловым писал: «Пусть девочка русая — муза не изменит тебе никогда»; не изменит, если хранят Пушкин и Блок честно пишущего.

Когда-то русский мыслитель Николай Страхов тонко почувствовал причину, по которой тургеневский Базаров отрицает искусства, враждебен музе и лире. В мелодиях Шуберта и в стихах Пушкина «он чует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них». Но в мелодиях Шуберта, в стихах Пушкина — словно бы музыка Бога, чаемый идеал гармонии, их власть и сила пронизаны высшим светом. А как быть с музами, эхо которых — из бездны? Или с музами, которые то возносят ввысь, то низвергают в пропасть?

Задача прасоловской музы посерьезней, нежели по всякому поводу «заявляться» и срывать шумные восторги.

Поэт — против подмен во всем. Истинно — «Хочу обманчивое смыть, чтобы единственное имя могло на каждом проступить». Миг, что «безлик и безымянен», — страшен.

Здесь невольно вспомнишь и Рембо, который задал поэзии непосильные задачи, и, видя неосуществимость их, ушел из поэзии. Прасолов поступил еще жестче.

Не заботясь о том, сколь неудобна, тяжела дорога, муза Прасолова идет в одиночестве, но высокие лучи классики

пронизывают ее, как ангелы света.

С детства Прасолову родные — Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Еще — «Кобзарь» Шевченко. Еще — Кольцов. Позже — Бунин, Блок, Ахматова, Есенин. И тогда же — Боратынский, Тютчев, Заболоцкий, Шолохов, Луговской. И, разумеется, Твардовский. Их имена мелькают в письмах, дневниках, стихотворных эпиграфах, и все они овеяны пушкинской строкой, прописанной по России и миру.

Пушкин сопровождает Прасолова, как всякого человека, взыскующего идеального, гармонического, жизнеравного, от первого сознательного дня до последнего. В прасоловской строке он присутствует незримо и зримо. От прямых цитирований и ссылок, весьма ответственных, вроде «И я, как Пимен, говорю» до стихотворения с названием «Пушкин», в котором автору никогда не виденное им «…море теплое шумит, Но сквозь михайловские вьюги…»

Пушкин для Прасолова — мера всего истинного. У него народное, платоновское отношение к нашему национальному гению — читать его бережно, возвращаться к нему постоянно.

Пушкин — явление золотого века России: «Там Пушкин встал у основанья, у изголовья — Лев Толстой». Но Пушкин — и современник всех веков, всех поколений.

Впервые попав в Москву, Прасолов, прежде чем появиться у Твардовского, идет к бронзовому Пушкину — великому опекушинскому памятнику, и этот зигзаг как бы подчеркивает преемственность отечественного поэтического слова.

В снежную буранную полночь в Репьевке, одном из райцентров Воронежской области, Прасолов читает хозяйке квартиры «Руслана и Людмилу», читает в один присест от начала до конца. И записывает в дневнике:

> «О, Пушкин! Будет метель. Будет Россия, и будет голос твой!»

Память

Необходимо сказать слова благодарности ушедшим и живущим, всем, кто так или иначе был соучастником прасоловского мира, кто понимал и понимает поэта, — его честное сердце, строгую душу, проницательный разум. Его высокий дух. Первое и великое спасибо — матери поэта. И малой родине. Спасибо всем проселкам и местам, где он побывал, — пусть даже и горестным, — поэт и там жил жизнью живой! Спасибо тем, кто помог ему на первых порах литературной деятельности, кто родственно и душевно был с ним рядом в трудные и горькие годины жизни, кто проводил его в последний путь.

После ухода поэта из жизни в Воронеже издаются сборники его произведений, все более полные. Их последовательность: 1976 — «Алексей Прасолов. Осенний свет. Стихи.» Предисловие В. Скобелева; 1984 — «Алексей Прасолов. Стихотворения, поэмы, повесть, статьи, письма.» Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие А. Абрамова; 2000 — «Алексей Прасолов. „И душу я несу сквозь годы…“». Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие В. Акаткина. Этот последний, наиболее полный сборник прасоловских произведений издан Центром духовного возрождения Черноземного края, переиздан Центрально-Черноземным книжным издательством.

Выходят книги поэта и в Москве. Их последовательность: 1978 — «Алексей Прасолов. Стихотворения». «Советская Россия». Составление и вступительная статья В. Кожинова; 1983 — «Алексей Прасолов. Стихотворения, фрагменты из писем». «Советская Россия». Составление В. Кожинова, И. Ростовцевой, вступительная статья В. Кожинова; 1988 — «Алексей Прасолов. Стихотворения». «Современник». Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие Ю. Кузнецова, рецензенты И. Ростовцева, Ю. Кузнецов, художник С. Косенков.

Прасоловское творческое наследие открывается все новыми гранями — в газетах, журналах, альманахах, ежегодниках в разные годы появляются прежде неизвестные широкому читателю поэтические и прозаические произведения Алексея Прасолова («Жестокие глаголы», «Подъем», 1980, № 3; «Безымянные», маленькая трагедия, «Литературное обозрение», 1984, № 2; «Ранняя строка», «Коммуна», 1988, 30 апреля; «Неизвестные стихи Алексея Прасолова», «Дон», 1988, № 8).

В разные годы, в разных изданиях много опубликовала и о поэте, и непосредственно прасоловских строк И. Ростовцева,

хранительница богатейшей переписки с А. Прасоловым.

Не так давно вышла в свет подготовленная ею большая книга — «Алексей Прасолов. Я встретил ночь твою.» (Роман в письмах. М., Хроника, 2003), где широко представлены прасоловские письма, неизвестная проза, рисунки.

Существует большой корпус сказанного, написанного о поэте учеными-литературоведами, критиками, писателями, поэтами — А. Абрамовым, В. Акаткиным, Л. Аннинским, Вл. Гусевым, А. Жигулиным, В. Кожиновым, Ю. Кузнецовым, В. Кулиничевым, С. Риммаром, Н. Банк, В. Скобелевым, В. Семеновым, А. Вольданом, О. Ласунским, А. Поповым, О. Разводовой… О поэте вспоминают хорошо знавшие его М. Шевченко, И. Татаренко, Е. Новичихин, В. Белов, В. Самойлов, В. Шуваев… Есть большой «венок» памяти — из поэтических строк.

На седьмом съезде писателей СССР 1 июля 1983 года Ст. Куняев свое выступление посвятил Прасолову, его стихотворению «Еще метет во мне метель…» — одному из лучших о Великой Отечественной войне.

К пятидесятилетию поэта Воронежская областная научная библиотека имени И. С. Никитина подготовила библиографический указатель литературы — «Алексей Тимофеевич Прасолов» с послесловием Вл. Гусева.

С 1987 года работает комиссия по литературному наследию Алексея Прасолова.

Путь в будущее

Творчество Алексея Прасолова, как всякое значительное, не застывшее в своем часе явление, духовно соучаствует в нынешней нашей жизни и продолжает путь в будущее.

Очевидное: без поэтического слова Алексея Прасолова, которого в свое время заметил, высоко оценил и представил читающей России ее великий поэт Александр Твардовский, немыслимо во всей полноте увидеть и понять образ отечественной поэзии двадцатого века. Столь же очевидное: творчество поэта по-своему не только отобразило сложное, драматическое движение личности, народа, страны и мира в двадцатом веке, но в чем-то оказалось пророческим, адресованным будущему: в контрастах, разломах, противоборствах как человеческих судеб, так и земных да и космических сфер, запечатленных в его слове, угадан век двадцать первый, в самом начале которого замаячили тени и сполохи новых социальных, религиозно-этнических, техногенных всемирных потрясений.

Хочу повторить свои слова о Прасолове, сказанные давно: чем дальше он от нас в своем часе физического ухода, тем ближе духовно. Тем ближе его поэтическое наследие, ибо свойство истинной, серьезной поэзии — укрупняться со временем, становиться необходимой многим.

Уходит неглавное, мелкособытийное, плоскобытовое, случайное. Остается Слово. Прасолов никогда не гремел речами, не спешил к микрофону и на телеэкран, не спешил «заявиться». Не разменяваясь на суетное, он пронес свое слово по жизни верно и строго.

Ныне о нем говорят провинция и столица, к его творчеству обращаются за рубежом. А у нас, в Воронеже?

Есть мемориальная доска на бывшем доме губернатора (проспект Революции, 22), где после войны располагался «Молодой коммунар» и где Прасолов работал в 1953–1955 годах. Мемориальная доска — как бы свидетельство того, что город взял поэта в свои верные и вечные спутники. Есть улица имени Алексея Прасолова. Проходят прасоловские встречи, появляются статьи о творчестве поэта, строка Прасолова не редкость на страницах местных изданий. К семидесятилетию поэта его имя присвоено одной из воронежских библиотек. Администрация области помогла выпустить в свет объемный сборник прасоловских произведений.

И все же… Как творческий мир неисчерпаем и не имеет

последней точки, так и человеческая память завершающего шага не имеет: она живет и углубляется в каждом новом поколении. По крайней мере, так должно быть.

«Смерть живая — не ужас, Ужас — мертвая жизнь», — сказал поэт перед своим уходом, и трагические эти строки заключают многое: философское и бытийное, личностное и национальное. Не здесь углубляться в них. Но если есть «мертвая жизнь», — беспамятная, обесчеловеченная, обезбоженная, — то есть и живая жизнь, и она не может осуществить себя вне честной памяти — в сердце, в слове, в делах рукотворных.

Убежден, пришло время поставить памятник Алексею Прасолову на воронежской земле. Другие литературные края нашего Отечества благодарно воздали должное своим рано ушедшим сыновьям-поэтам. На вологодской земле воздвигнут памятник Николаю Рубцову, на владимирской — Алексею Фатьянову, на близкой к нам черноземной Орловщине — Дмитрию Блынскому.

Не обязательно это должен быть монумент, скульптурное изваяние во весь рост. Еще в позапрошлом веке из мрамора высеченный бюст Кольцова, небольшой, исполненный изящества, радует взоры уже стольких поколений воронежцев и гостей города. Художественная убедительность достигается вовсе не массой камня или бронзы.

У Прасолова было сложное отношение к цивилизации, прогрессу, городу. И все же о нашем городе он (не сторонник конкретного, предметного, краеведческого в поэтической строке) сказал в стихотворениях «Вечный огонь», «Чернявский мост», «Аэропорт перенесли…».

О Воронеже он писал:

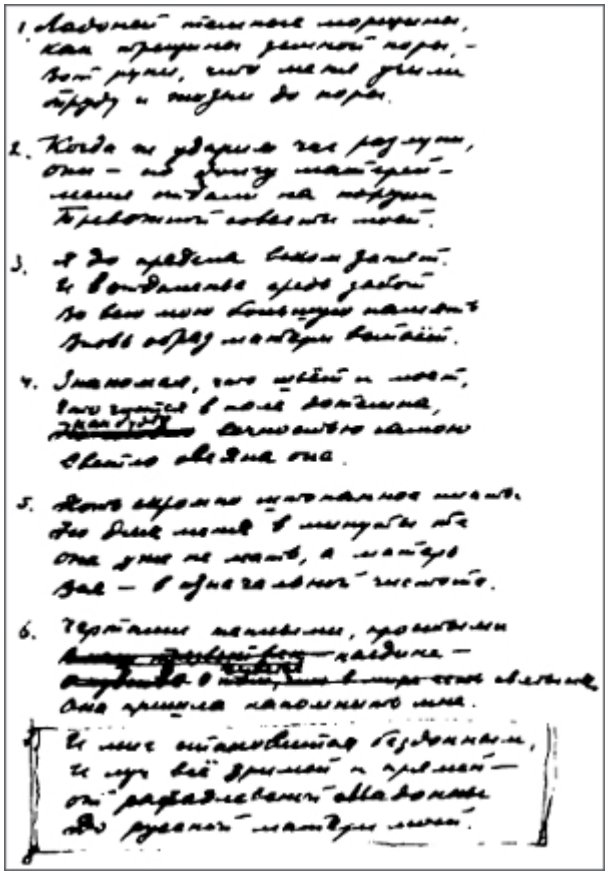
> И вел нас город, вставший на холмах,
> В торжественной раскованности русской…

Должен быть (и, верю, будет) на нашей земле памятник Алексею Прасолову. Поэту-гражданину. Поэту-лирику. Поэту-философу, достойно продолжившему традицию высокой поэзии мысли — традицию Боратынского, Тютчева, Заболоцкого.

1980—2001

Алексей Прасолов. Фото 1956 года.

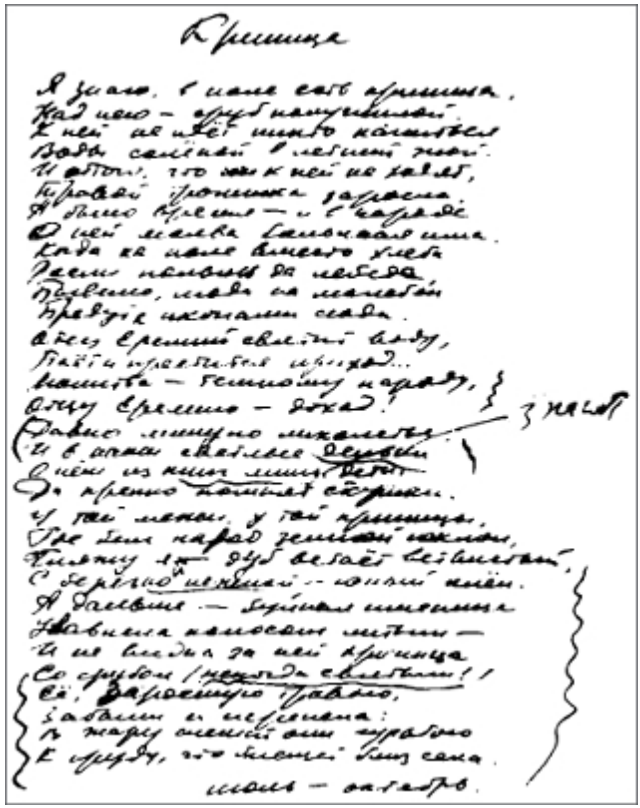
Из архива А. Т. Прасолова (хранится у вдовы поэта Р. В. Андреевой-Прасоловой).



Автограф стихотворения А. Прасолова «Ладоней темные морщины».

Из архива А. Т. Прасолова.

Мать поэта Вера Ивановна Гринева (урожденная Литвинова) у дома в селе Морозовка. 1988 год. Фото В. В. Будакова.



Криница

Я знаю, у меня есть криница.
Над нею – сруб замшелый.
К ней не идёт никто напиться
Вода студёная и мёртвая вода.
И потому, что не к ней не зовёт,
Кровавой тропинки не видно.
Я знаю, где она – и с каждым
О ней молва самонадеянна.
Когда ее живого ключа
Ласкал полынный ли ковыль
Первично, иссыхая на камнях,
Предчувствуя источник сада.
Здесь время свой свершит виток,
Найдя нетленных истин...
Криница – бессмертью исход,
Отцу времени – дочка!
Равно мишурно мишленья
И в очах свободы
О ней из книг лишь
Да время помнит сторожко.
О, где ты, где, у той криницы,
Где зов народ земной накликал,
Тянулся ль дуб вековый,
С берёзкой нежной – юный клён.
Я знаю – бурьяном поросла
Невинная колодезя мудрость –
И не видна за ней криница
Со срубом / нежной свежести!/
Её, заросшую травою,
Забыли и не вспомнят:
К ней не зовёт очей ли сурово
К ней ли, что ближе, мир сама.

июнь – октябрь.

Автограф стихотворения А. Прасолова «Криница».

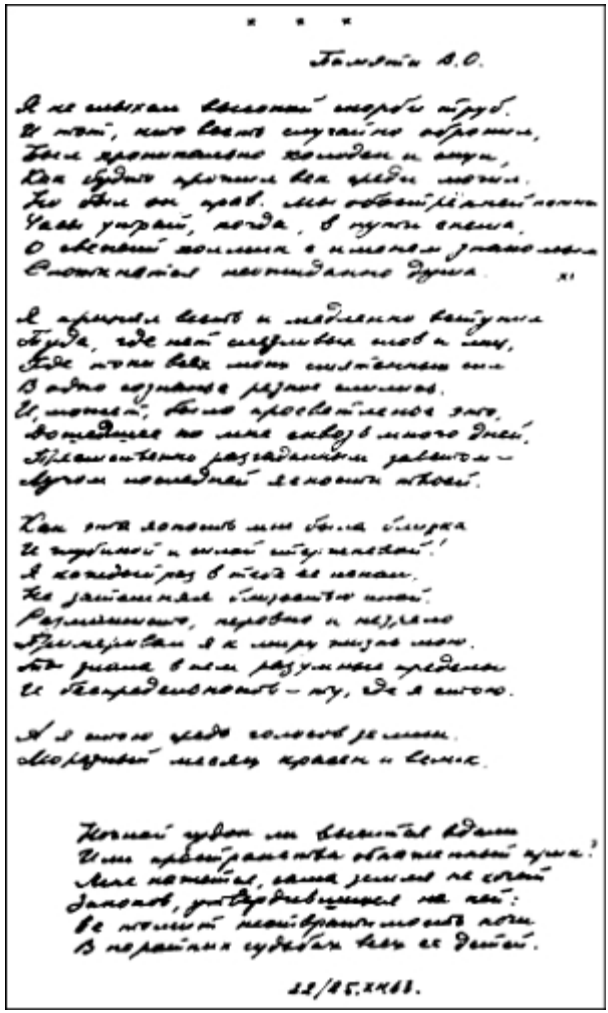
Из архива А. Т. Прасолова.

«Прасоловская» криница в селе Ивановка — на родине поэта. 1986 год. Фото В. В. Будакова.

Вера Опенько, первая любовь А. Прасолова.

Фотокопия из архива В. В. Будакова.

Памяти В. Опенько поэт посвятил стихотворение «Я не слыхал высокой скорби труб».



* * *

Памяти В.О.

Я не слыхал высокой скорби труб.
И тот, кто смог случайно оробеть,
Кем вдохновенно колдован и опух,
Как будто крючья вех ледей мочил,
Не для меня. Мне собственной печали
Чаш умирай, когда, в пучины сжима,
О вековой волшебник и никем узнаваемый
Стонет пятой неотвязный дух.

Я вырвался весь и мгновенно вещунья
Труда, где нет сладчайших слов и мук,
Где нами вах тот сплетенных сил
В одно слиянье разных имен,
И, потеряв, было просветленное зло,
Вошедшее во мне живой в много дней,
Прекрасно разгадывать заветом –
Другой неизбежный законом твоей.

Как этот дорогой мне был смерка
И трудный и милый путь человек!
Я каждый раз в тебя не верил.
Не узнавал тебя сразу твой.
Разумный, нарочно и нарочно
Вдохновенно я к миру вызов мой.
Но ранил в нем разумные пределы
И безрассудность – ну, где я стою.

И я стою среди холодных зеркал,
Обезумевший человек крови и семян.

Печальный дубок не высекал вдаль
Им превращенный обманный путь!
Мне не нашел, какой земли не сорвал
Замолк, утверждающийся на ней:
Не нашел неизбежность ночь
В пораженных судьбах всех его дней.

22/IX.XXII.

Автограф стихотворения А. Прасолова «Я не слыхал высокой скорби труб».

Из архива А. Т. Прасолова.

Станция Россошь в начале Великой Отечественной войны.

Фотокопия из архива В. В. Будакова.

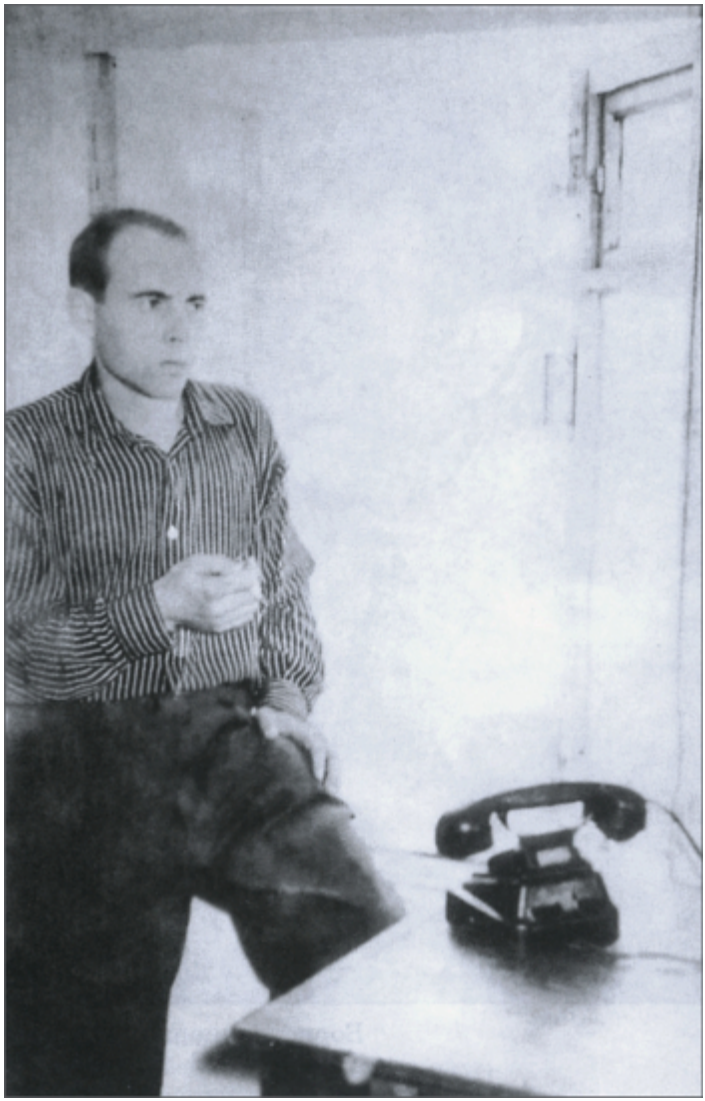
Алексей Прасолов среди учащихся Россошанского педагогического училища. Фото 1951 года.

Из архива А. Т. Прасолова.

Алексей Прасолов. Фото предположительно конца 1950-х годов.

Из архива А. Т. Прасолова.

Борис Иванович Стукалин



Алексей Прасолов. Точная дата фотографии не установлена.

Из архива А. Т. Прасолова.

Александр Трифонович Твардовский

Анатолий Михайлович Абрамов.

Фото из архива В. В. Будакова.

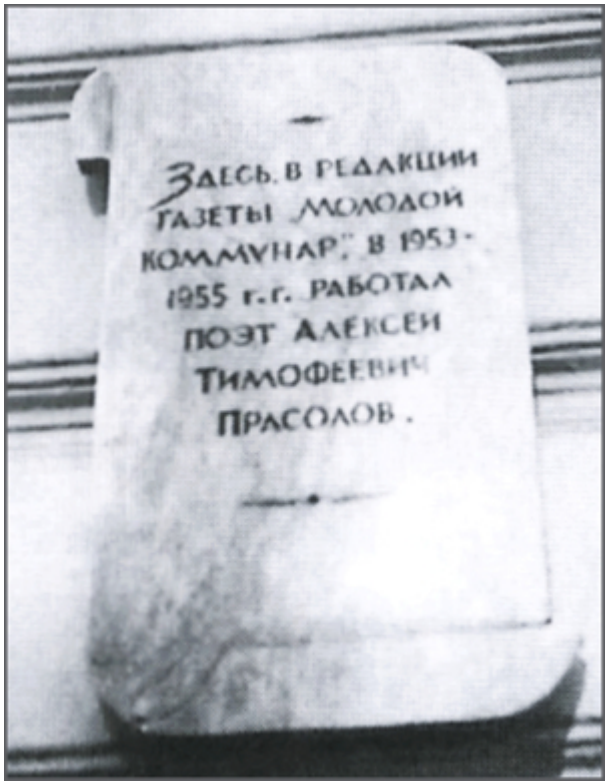
А. В. Жигулин, В. В. Семенов, А. Т. Прасолов. 1966 год. Фото А. М. Костина.

Из архива В. В. Будакова.

Воронеж, пр. Революции, 22. Здесь размещалась редакция газеты «Молодой коммунар», в которой в 1953—1955 годах работал А. Т. Прасолов.

На этом доме в 1996 году установлена мемориальная доска.

Фото В. В. Будакова.



Воронеж, ул. Беговая. Дом, в котором прошли последние дни жизни поэта. Фото В. В. Будакова.

Алексей Прасолов на Дону. Фото предположительно 1971 года.

Из архива А. Т. Прасолова.

А. Т. Прасолов с женой Р. В. Андреевой. Село Хохол. 1970 год. Фото Н. С. Молотовой.

Из архива А. Т. Прасолова.

Рисунок А. Т. Прасолова и его автограф посвящения на макете книги «Во имя твое». 1970 год.

Из архива А. Т. Прасолова. Публикуются впервые.

С. С. Косенков. Портрет А. Прасолова. Из серии иллюстраций к поэзии А. Прасолова. 1985—1988 годы.

Из архива Р. В. Андреевой-Прасоловой.

Суперобложка книги Алексея Прасолова «Стихотворения», изданной в Москве в 1988 году издательством «Современник» с иллюстрациями художника С. С. Косенкова и послесловием поэта Ю. П. Кузнецова.

Прижизненные издания Алексея Прасолова: «Лирика» (1966) — в Москве; «День и ночь» (1966), «Земля и зенит» (1968), «Во имя твое» (1971) — в Воронеже.

На вечере памяти А. Прасолова в Воронеже в Центре духовного возрождения Черноземного края. 2000 год. Фото Н. В. Стребкова.

Алексей Тимофеевич Прасолов. Середина 1960-х годов. Фото А. М. Костина.

Содержание

Жизнь 5
Пролог 6
Родина Ивановка 7
Морозовка. Полынь войны 16
Свой очаг 30
У Черной Калитвы 34
Россошь. Уроки и строки 37
Ранняя рукопись 47
Сельский учитель 55
Воронеж – город поэтов 63
Россошь. На круги своя? 78
Новая Калитва. Донская лука 83
Петропавловка воронежская 101
На грани зрелых лет 116
Писательский билет 121
Москва бьет с носка 125
Россошь – родина и мачеха 129
Хохол. Последняя редакция 157
Дивногорье 171
Воронеж. Дом беды 178
Эпилог 211
Муза 213
Память 217
Путь в будущее 219

Виктор Викторович Будаков

ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Литературно-художественное издание

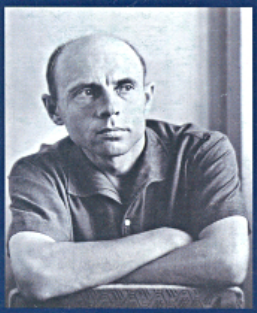
Книга издана в авторской редакции.

Художественный редактор **Л.Ф.Попова**
Обложка **А.П.Ходюка**
Компьютерная верстка – **Е.В.Саввиной**
Корректор **А.В.Рудакова**

Оригинал-макет сдан в печать 10.11.2005 г. Формат 84x92 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 7,5.
Тираж 1000. Заказ 3790.
Издательство "Центр духовного возрождения Черноземного края",
394000, г. Воронеж, ул. Никитинская, 22.
Издательско-полиграфическая фирма "Воронеж",
394000 г. Воронеж, пр. Революции, 39.

Алексей Прасолов

к 75-летию со дня рождения



Центр духовного возрождения
Черноземного края
Воронеж - 2005